ЯКОВ ГОРДИН МОЯ АРМИЯ В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ СУДЬБЫ

ЯКОВ ГОРДИН

МОЯ АРМИЯ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ СУДЬБЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Новая книга известного писателя, историка, публициста Якова Гордина — это хроника двух экспериментов, с судьбой и памятью. В 1950-е годы интеллигентный юноша, начитавшийся «брутальной» литературы — Ф. Ницше, Д. Лондона, Г. д'Аннунцио и др., после школы добровольно идет служить, чтобы сменить книжный мир на мир реальный и предельно суровый. На побережье Охотского моря, в монгольских степях, в сибирской тайге рафинированная культура сталкивается с жестким армейским бытом, в который герою предстоит вжиться. Много лет спустя Я. Гордин перечитывает свои письма из армии — и обнаруживает, что помнит те годы и события совершенно иначе. Кто знает правду — сегодняшний автор или тогдашний юноша с «наполеоновскими планами»? В своих воспоминаниях Я. Гордин пытается ответить на этот и другие вопросы, связанные с исторической достоверностью и нашим отношением к прошлому.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

ЯКОВ ГОРДИН МОЯ АРМИЯ В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ СУДЬБЫ

ЯКОВ ГОРДИН

МОЯ АРМИЯ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ СУДЬБЫ

Новое
Литературное
Обозрение

ЯКОВ ГОРДИН
МОЯ АРМИЯ
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ СУДЬБЫ
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ МОСКВА 2020
УДК 821.161.1.09«19» ББК 83.3(2Рос=Рус)6 Г68
Гордин, Я.
Г68 Моя армия. В поисках утраченной судьбы /Яков Гордин. — М.: Новое литературное обозрение, 2020. —192 с.
ISBN 978-5-4448-1180-1
УДК 821.161.1.09«19» ББК 83.3(2Рос=Рус)6

В оформлении обложки использованы фотографии из домашнего архива Я. Гордина
© Я. Гордин, 2020
© ООО «Новое литературное обозрение», 2020

> *«Память, руководимая волею, память рассудочная и сведения, которые она дает о прошлом, ничего не сохраняют из реального прошлого».*
>
> *Марсель Пруст{1}.*

> *Не могу еще представить себе, какое впечатление произведет на вас такое важное известие обо мне: до сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вдруг становлюсь воином. Быть может, такова особая воля Провидения! …Умереть с пулей в груди стоит медленной агонии старца; поэтому, если начнется война, клянусь Вам Богом, что везде буду впереди.*
>
> *М. Ю. Лермонтов о поступлении в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, из письма к М. А. Лопухиной, октябрь 1832 года{2}.*

Я думал, что буду писать о себе. Оказалось, что намерение это неосуществимо. Тот юноша 18 лет, чьи письма я решил положить в основу своего мемуара, слишком мало похож на меня — восьмидесятилетнего. Развитие пошло по другому пути.

Я давно не перечитывал эти письма, а когда перечитывал, то не особенно вдумывался в их подспудный смысл, а удовлетворялся их сюжетной стороной. И не старался понять, что же хотел сказать — не своим адресатам, а самому себе — этот мальчик, обдумывавший, стоя на посту зимней ночью под ветром с Охотского моря у какого-нибудь полкового склада ГСМ или гарнизонной гауптвахты, «наполеоновские планы».

Только теперь, читая свои — и в то же время его —

письма, я понял, какая странная вещь воспоминания о молодости. (В частности, воспоминания декабристов, с которыми я много имел дело.) Я понял, что это всегда сложное совмещение двух мировидений и невольная попытка подогнать то, дальнее, под свое нынешнее. Это еще и сведение счетов с тем, другим. Насколько точно был выбран курс, направление движения? С точки внешнего психологического сюжета — вполне органично. Иначе как понять постоянные заклинания реальности именами Ницше и Джека Лондона, которые пронизывают письма? (Что, конечно, имея в виду Ницше, не совсем тривиально для человека, окончившего школу через год после смерти Сталина.) Но насколько эта брутальность соответствовала моему — его — предназначению? Что должна была она компенсировать в моем — его — внутреннем устройстве? Теперь подозреваю, что это было некоторым насилием над собственной органикой. Но именно это стало судьбой.

У меня как у воспоминателя есть важное преимущество перед многими мемуаристами — я располагаю доброй сотней армейских писем, которые сохранили мои родители.

Соответствует ли содержание писем реальной армейской жизни тех лет? Не соответствует. Ну, скажем, не совсем соответствует. Я — он — опускал многое, неизбежно сопутствующее армейской специфике. Но я-то все это помню и, соответственно, буду письма комментировать.

Сразу хочу оговориться: в армии того времени не было ничего похожего на то, что потом назвали дедовщиной. Было много грубого и жестокого. Но — другого.

То, что я пишу, не история армии пятидесятых годов. Это история интеллигентного, вполне домашнего мальчика, который решил совместить книжный мир, в котором он жил и в который верил, с миром реальным в его предельном выражении. Таковым ему мыслилась армия. Это была полуосознанная попытка проверить на практике те жизненные принципы, которые так привлекали его в гипнотическом мире книг — Ницше, Джек Лондон, Габриэле д'Аннунцио, Штирнер... Великий принцип сочетания изощренного интеллекта и незаурядных физических возможностей — случай Мартина Идена. Трагическая судьба этого героя представлялась нелепым стечением обстоятельств, но и делала его еще привлекательнее.

Короче говоря, это история эксперимента, определившего мою — его — судьбу.

Но сперва небольшое отступление.

Вспомним блестящую формулу Тынянова: «Есть документы парадные, и они врут, как люди»{3}.

Идеальный пример такого документа являет мой военный билет.

Если когда-нибудь кому-нибудь пришло бы в голову поинтересоваться моей биографией и он заглянул в мой военный билет, то в графе «Прохождение службы» прочитал бы:

«в/ч 01106 — нормировщик,

в/ч 11225 — нормировщик».

Этот гипотетический исследователь, знакомый с моими автобиографиями и сведениями обо мне в Интернете, встанет в тупик. Отыскав в том же Интернете данные о в/ч 01106, он обнаружит, что это был «отдельный учебный стрелковый полк», готовивший младших командиров для воинских частей Дальнего Востока и Сибири. Главным образом для пехоты, но, как мы увидим, не только. При чем же здесь, скажет озадаченный исследователь, нормировщик? И будет прав. Никаких нормировщиков в этом полку не было и в помине. И как быть с утверждениями его персонажа, что он был курсантом полковой школы, командиром отделения и помкомвзвода в роте саперов-мостостроителей? Персонаж сочинял свою армейскую биографию?

Дело было так. Демобилизовавшись и вернувшись в Ленинград, я отправился в свой военкомат получать военный билет. Звания офицера, который оформлял документы, я не помню, не помню даже — был это офицер или старшина-сверхсрочник. Помню, что мы были вдвоем в кабинете. Он посмотрел мои документы, спросил — как служилось? где служил? (Как я понимаю, в моей солдатской книжке были обозначены номера воинских частей, но не указаны места дислокации.) При этом он, не торопясь, заполнял мой военный билет. Но когда я заглянул в соответствующую графу, то возмутился. Посмотрите, говорил я ему, в солдатской книжке сказано: стрелок- карабинер, стрелок-наводчик ручного пулемета, командир отделения... Нормировщиком я действительно был в в/ч 11225, но отнюдь не все время!

Он терпеливо все это выслушал и спросил: «Ты еще не наслужился?»

Я ответил, что, мол, вроде бы достаточно... «Так вот, — сказал он, — если я напишу тебе — пулеметчик или сапер, то тебя каждые три года будут дергать на сборы. Ты этого хочешь?»

То ли я ему понравился, то ли на него произвела впечатление география моей службы, но он почему-то решил оградить меня от посягательств своего учреждения.

Я не был в восторге от происходившего, но требовать, чтобы он оформлял новый военный билет, у меня духу не хватило. Я махнул рукой и ушел… И в самом деле — меня ни разу не требовали на сборы.

Письма, которые я — он — писал из армии родителям и фрагменты которых намерен представить читателю (оригиналы, надеюсь, будут храниться в моем фонде в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, куда я собираюсь предложить свой архив), письма эти, при всей их сюжетной неполноте, гораздо достовернее официальных документов…

Я точно помню момент, когда понял, что хочу служить в армии. Это было в 1952 году в Литве. Мне было 16 лет. Мой двоюродный дядя, известный вильнюсский врач, снял нам дачу под Вильнюсом в том же доме, где проводила лето его семья. Там были роскошные сосновые леса. Однажды, бродя по лесу, я стал свидетелем тактических учений стрелкового взвода. Несколько десятков крепких ребят в гимнастерках — в руках винтовки с примкнутыми трехгранными штыками — с бодрым криком «ура!» штурмовали небольшой безлесый холм. Потом они отдыхали, сидя и лежа на траве, веселые, разгоряченные… Вот это жизнь!

Я не любил школу, плохо учился по математике и физике, с трудом вытягивая тройки в четверти и в году. Мысль, что после школы надо будет сдавать экзамены в институт, снова учиться, учиться и учиться, все так же жить в нашей большой коммунальной квартире все той же заурядной жизнью, — приводила меня в глубокое уныние. У меня не было возможности стать матросом, как Мартин Иден, странствовать по тайге, как Арсеньев, чьи книги я тоже любил. Был вариант — стать зоологом, жить в лесу, охотиться. Но для этого опять-таки надо было сперва учиться, учиться и учиться…

Армия казалась единственной возможностью вырваться из этой банальной жизни, недостойной того, кто считал себя учеником Лондона и Ницше. Какой мир являет собой армия — тот давний юноша не имел ни малейшего представления, да и не задумывался об этом. Ясно было, что это мир испытаний, мужской мир…

Окончив школу — успешно провалив экзамен по тригонометрии и, соответственно, получив переэкзаменовку

на осень, — я, не откладывая, пошел в военкомат. Однорукий майор-фронтовик (война кончилась всего девять лет назад) был чрезвычайно растроган моим энтузиазмом. Я попросил записать меня в артиллерию. Почему — не знаю.

Призыв, несмотря на переэкзаменовку, лишавшую меня возможности подавать документы в институт в обычное время, не был фатальным. Были институты с недобором, куда можно поступить, а потом перейти в другой. Имелись еще какие-то возможности, на которые есть намек в одном из писем, но у меня и в мыслях не было пытаться избежать мобилизации. Я хотел в армию. Очень хотел.

Я сдал тригонометрию в августе. Получил аттестат зрелости. Но не получил военкоматской повестки в первую волну сентябрьского призыва. И снова пошел в военкомат. Меня заверили, что моя очередь скоро наступит. Очевидно, я производил на моего майора несколько странное впечатление. Думаю, что это был единственный случай в его практике, когда парень, явно живущий благополучной жизнью, так рвался в армию.

Теперь наступает очередь писем.

Мы выехали из Ленинграда 14 октября 1954 года. А на следующий день я отправил домой первое письмо.

«Прежде всего я переквалифицировался в бойца бронетанковых войск. И буду теперь танкистом. Меня переквалифицировали еще в казарме. *(То есть на сборном пункте в Ленинграде.* — Я. Г.) Далее. Куда я еду? Должен что

сведения нижеследующие получены от сержанта танковых войск, стрелка-водителя Бутенко. Так что сомневаться не приходится. Он наш провожатый и ментор.

Мы едем на Дальний Восток. И не просто на Дальний Восток, а в Сов. Гавань. Сов. *Г*авань же, насколько я помню из географии, самый восточный пункт СССР. Стоит эта гавань на берегу Тихого океана. В двадцати километрах от границы. Как я еду? Очень мило. В теплушке. В эшелоне таких теплушек десятка три, а народу около двух тысяч. У нас просторно, тридцать три человека и наш сержант. Нары. В три ряда. Две буржуйки и два ящика угля. Одна большая дверь, которую приходится закрывать и открывать всем вагоном, и четыре маленьких окошечка в ладонь (мою).

Ехать будем 25 суток. Вот и все. Привет.

А мне как танкисту дадут большой кожаный шлем и пистолет. Это истина. Сержант сказал. Там уже зима. Лютая. И мне выдадут зимнюю форму. А поедем мы, рабы божии, через Волгу, Ангару, Енисей, Лену, Урал, мимо Амура, по берегу Байкала. Это вам не фунт изюма».

Это и следующее письма с дороги пронизаны восторженным возбуждением. Я понял, как мне повезло. Ведь я мог попасть куда-нибудь в Псковскую или Рязанскую область — большой интерес! — а судьба вела меня на край света, к Тихому океану! Я еще не знал, где мне предстоит побывать...

Нужны два примечания — самый восточный пункт СССР вообще-то не Совгавань, а мыс Дежнева на Чукотке. Знание географии подвело. Но и Совгавань — достаточно экзотическое место. И непонятно — о какой границе я писал. Нет там в двадцати километрах никакой границы. Это явно фантазии стрелка-водителя сержанта Бутенко.

Уже на сборном пункте в Ленинграде я оказался среди нескольких тысяч ребят, как говорится, не своего круга. Это были в основном рабочие парни, армии не боящиеся, но в нее и не стремившиеся. Большинство было с серьезного похмелья. Они обменивались воспоминаниями о своих последних любовных, так сказать, эпизодах. Все это было сдобрено хорошим органичным, хотя и несколько однообразным матом. И тут оказалось, что я, наизусть знавший «Портрет Дориана Грея», взявший с собой для чтения в дороге книгу- эссе Георга Брандеса «Гейне и Берне»{4}, по сути своей вполне демократичен. Меня ничуть не коробило и не пугало это новое общество. В конце концов Мартин Иден, прежде чем начитался книг и стал интеллектуалом, провел молодость именно в такой среде.

Во втором письме, отправленном уже из Кирова, юный испытатель судьбы не без восторга описывает это новое для него общество и атмосферу путешествия.

«В эшелоне не двадцать вагонов, как я, введенный в заблуждение, ошибочно сориентировавшись, писал, а более сорока.

А через Амур поедем на пароме.

Едем шумно, гамно. Весь эшелон вопит различные песни, истошным воем пугая мирно возделывавших свои поля пейзан. Тащат все, что под руку попадется. Кормят два раза в день. *(В эшелоне были вагон-кухня и вагон — склад провианта. — Я. Г.)* Кашей пшенной и овсяной, с луком, мясными щами с преизрядным количеством перца. Зверская пища, но ничего, вкусно, сытно. Замерзаем помаленьку. День и ночь, как первобытные люди, поддерживаем огонь в буржуйках. А топим углем, большею частью заимствованным в проходящих мимо составах. Тащат новобранцы картошку с огородов, переворачивают ларьки на станциях. И т. д. Одним словом,

трехтысячная татарская орда, только способ передвижения несколько модернизированный. Да и то не очень. Навряд ли в телятниках уютнее, чем в монгольских кибитках. Но в общем и целом неплохо. Прелесть новизны, масса свежего воздуха и многое другое!»

Относительно того, что творилось по ходу движения эшелона, автор письма не преувеличивал. Скорее наоборот. Когда наш эшелон останавливался на запасных путях какой-нибудь станции — все вокруг пустело. Милиция не показывалась.

Разумеется, не весь эшелон состоял из башибузуков. Но эта группа была чрезвычайно активна. Я помню клич, прозвучавший, когда мы переезжали Уральские горы: «Берегитесь, сибирские жиды! Ленинградские хулиганы едут!»

Мое восторженное настроение отнюдь не ослабевало.

«Когда прибудем на место, то писать точный адрес будет запрещено. Как сообщил наш ментор, часть, в которую мы едем, с недавних пор засекречена—перевооружается новыми танками. Так вот. Стоять я буду у моря твердой ногой, или, точнее, у Тихого океана около Сов. Гавани. Мне дадут комбинезон, шлем, пистолет, как я уже сообщал... Играю в домино и карты. Очень весело. Между прочим, одна миска на двоих. Это не слишком эстетно. Ну, ничего. Я ведь не Дориан *Гр*ей. Уайльд и сам-то в тюрьме сидел. И ничего. Даже отлично. Еще и стишки пописывал. А я письма».

Это было поразительное путешествие. Помимо всего прочего надо помнить, что снабдить три тысячи человек не только постельным бельем, но и простыми матрасами было весьма затруднительно. Этого и не было. Мы спали на голых нарах, подстелив что у кого было. Я спал на своем демисезонном старом пальто, подложив под голову сверток из запасного белья. Но спалось—прекрасно.

Главным, конечно же, для меня была смена природных поясов. В домино и карты я играл мало. Большую часть времени проводил у открытой двери теплушки, сидя на краю и свесив ноги. Мы, собственно, проехали насквозь с запада на восток всю гигантскую страну. И наблюдать, как привычные среднерусские пейзажи сменяются приуральскими степями, Уральскими горами, тайгой, потом опять забайкальскими степями, было гипнотически увлекательно.

Поскольку спать можно было в любое время, то, отоспавшись днем, я любил сидеть у двери ночью (разумеется, до поры, пока похолодание не заставило на ночь

дверь закрывать). В полной тьме вдоль летящего состава тянулся шлейф паровозного дыма, пронизанный горящими искрами. От этого зрелища невозможно было оторваться.

В Восточной Сибири стали постепенно отцеплять по несколько вагонов. Не вся орда предназначалась Дальнему Востоку.

После большого перерыва я бросил на какой-то станции последнюю открытку с пути — 2 ноября 1954 года: «Недалеко от Хабаровска отцепили три вагона с танкистами. Поедем сначала на Комсомольск, а затем дальше. Куда, не знаю. А в остальном, прекрасные маркизы, все хорошо, все хорошо. Танкистам ура!»

Через три дня наши вагоны остановились на станции Ванинского порта — Совгавань-5. Это было поздно вечером. Наш стрелок-водитель Бутенко как-то незаметно исчез, не попрощавшись, а нас встретили офицеры с малиновыми пехотными погонами. Стало ясно, что ни комбинезона, ни шлема, ни пистолета мне не видать.

Нас построили в колонну, и, пройдя несколько километров, мы оказались в расположении пехотного полка.

Сравнительно недавно я наткнулся в Интернете на сведения об этой части. Живущий в Комсомольске-на-Амуре писатель А.Н. Сесёлкин выпустил книгу по истории Совгавани — с момента основания и до наших дней. Там нашлось несколько абзацев, посвященных «отдельному учебному стрелковому полку в/ч 01106» и его командиру гвардии полковнику Хотемкину.

Неизвестно, где формировался полк, но передислоцировали его в район Ванинского порта в марте 1954 года, то есть за полгода до моего там появления. Полк был брошен в тайгу и сам строил свой городок. К ноябрю того же года строительство еще не закончили. В частности, не была построена столовая. О том, что это для нас значило, — позже.

Итак, путешествие закончилось, и я оказался в пространстве, которое сыграло, с уверенностью могу сказать, определяющую роль в моей судьбе…

Встретили нас не очень гостеприимно. Поскольку была уже ночь и полковые службы не действовали, нас поместили на ночлег в недостроенную казарму. Разумеется, неотапливаемую. А это был ноябрь на севере Дальнего Востока. Ночь мы провели на полу.

Эта ночь была для меня первым сигналом. Та яркая вильнюсская картинка — солнечный сосновый лес и веселые бодрые ребята с винтовками, — которая прочно

ассоциировалась у меня с армейской службой, стремительно тускнела…

Письмо от 7 ноября 1954 года: «Ехал я, ехал, отмахал 12 т км, и вот приехал. Выезжал артиллеристом, ехал танкистом, а приехал в стрелковый полк и стал пехотинцем. Попал в полковую школу или учебный батальон, и теперь не кто-нибудь, а курсант. Учиться не то 9, не то 11 месяцев. Начнем учиться до 1 декабря… Точный адрес писать не могу, к сожалению, запрещается. В общем, Дальний Восток такой дальний, что дальше уж некуда. Получу звание сержанта, отправят, возможно, еще дальше куда-нибудь на Сахалин или Курилы. Кормят хорошо—много. Здесь, видите ли, по какой- то причине в воздухе не хватает 17% кислорода, ну, это и компенсируется полуторным пайком». *Относительно нехватки кислорода — это, скорее всего, была местная легенда, а паек был полуторный, как нам объяснили, потому, что эти места входили в перечень «районов, вредных для проживания». У нас и получка была полуторная — не 30 рублей, а 45.*

Насколько эта «вредность» была реальна — не берусь утверждать, но мы на первых порах ее почувствовали. 19 ноября я писал: «В Ленинграде, наверно, слякоть, а все-таки прекрасный город, черт возьми. А я, дурень, все ругал его климат. Здесь не то, и ветерок какой-то режущий, неприятный, и кислороду мало. Перемена климата очень резкая, это вначале дает себя чувствовать. Вялость какая-то и тяжелая голова. Почти у всех. Но постепенно проходит, принимаем надлежащий вид, привыкаем».

Не знаю, как для моих сослуживцев, а для меня отнюдь не перемена климата была главным. Главным и на первых порах сокрушительным был контраст между представлениями об армии и реальным армейским бытом.

Забавный, но характерный эпизод. Нам выдали постельные принадлежности — матрасы, простыни, одеяла. Все как положено. Кроме подушек. Подушек не было. Старшина вручил нам наволочки, велел отправиться в столярную мастерскую и набить их стружкой. Беда была в том, что в мастерской побывало уже множество обладателей пустых наволочек и стружек почти не осталось. Осталась в основном мелкая щепа. Ею мы и набили наши наволочки. Не скажу, что это было мягко и удобно, но постепенно щепки как-то улеглись, и спал я на этой подушке прекрасно.

Служба началась с мытья полов в огромной казарме, вмещавшей две роты — порядка трехсот человек. Это было не наказание, а необходимость. Мы вселялись в свежевыстроенную казарму, и надо было приводить ее в

порядок. Кроме того, мы занимались отделкой клуба.

19.XI.1954. «Я уже переменил добрый десяток профессий. Сейчас выступаю в амплуа шпаклевщика. Приходится иметь дело с мелом в порошке. Приходишь в казарму, как в муке вывалянный. Мел в носу, в глазах, в глотке».

Все это усугублялось отвратительной погодой — низкое темное небо, сырой ветер с Татарского пролива.

Но самым тяжелым в эти первые недели было утреннее пробуждение. Не то чтобы сна не хватало — мы спали положенные восемь часов. Но просыпаться не хотелось, а тебя в шесть часов утра резко вырывала из сна громогласная команда дежурного по роте: «Рота! Подъем!» Ее подхватывали уже вставшие и одевшиеся сержанты: «Взвод! Подъем! Отделение! Подъем!» Через минуту взвод должен был стоять — в две шеренги — в центральном проходе казармы. За эту минуту надо было натянуть брюки, сапоги, правильно намотать портянки: намотаешь неправильно — сотрешь ноги на утренней пробежке. В первые недели — в нижней рубашке. Это называлось «форма 20». Затем команда: «Оправиться!» Уборные находились метрах в ста от нашего конца казармы, естественно, на улице. Грандиозные сооружения, рассчитанные на три сотни солдат...

Дальше начиналось главное — зарядка, основную часть которой составлял бег.

Я описывал его уже 18 декабря, будучи в совершенно ином состоянии, чем в первые недели.

«Зарядка—это бег километра на три по скверной, обледенелой проселочной дороге. Сие мероприятие проходит в весьма романтической обстановке—при свете звезд, среди блестящих глубоких снегов. Спуски, подъемы, лед. Бежим в шинелях, надетых на нижние рубашки. Сапоги скользят. Если бы бежал один, а не в строю, то, наверно, шлепнулся бы, однако бежишь. Падать нежелательно, об тебя споткнутся сзади бегущие, и получится свалка. Иногда выкидываешь такие дикие антраша в духе экзотических танцовщиц, и снова на ногах. Сначала эти бега меня не особенно вдохновляли, было трудновато, а теперь все в норме. Бежишь, на звезды любуешься. Здесь есть одна очень интересная звезда. Утренняя звезда, ночью ее нет. Обычно звезды синевато-белого, электрического цвета, а эта совершенно золотая, ясного светло-золотого цвета. Красиво».

Выражение «трудновато» не совсем соответствовало действительности. Первые недели этот утренний бег был сущим мучением. Это было не просто крайнее напряжение, но — перенапряжение сил, когда сердце, как говорится,

выскакивало из груди, а дыхания с какого-то момента вообще не было… И, однако, постепенно все действительно приходило в норму. Организм приспосабливался. Правда, было одно обстоятельство, несколько облегчавшее это испытание. Время от времени звучала команда: «Взвод! Шагом марш!» И пару сотен метров мы шли шагом, восстанавливая дыхание. А затем снова: «Взвод! Бегом марш!»

9.1.1955. «Я, как всегда, процветаю. Здоров. Сегодня у нас был кросс на 1000 метров, проще говоря, на километр. Из четырех взводов *(Состав роты.*—Я. Г.) наш занял второе место. Бежали в шинелях, шапках. Для того чтобы получить ГТО 2-й (т.е. высшей) степени, нужно пробежать за 3 мин. 25 сек. Я, увы, на 2-3 секунды опоздал. Но надо учесть то, что 3.25—это норма для трусов, тапочек, маек. Для шинелей, сапог и ушанок уложиться в этот срок сложно. Когда я бегал на ту же дистанцию в школе, я бежал дольше и устал куда больше, несравненно больше. Пятикилометровые ежедневные утренние бега неплохо делают свое дело. Домой я вернусь неплохим бегуном. Так что о здоровье моем не тревожьтесь… Да, вот что. Та таинственная утренняя звезда, о которой я вам писал, — не кто иная, как Венера. Я, помню, часто любовался на нее в Михайловском. Ее можно было видеть из окна нашего дома. Того, где живет Гейченко. Она каждый вечер всходила над лесом. Там она вечерняя, а здесь утренняя звезда. Вернее—планета».

Бегу неслучайно придавалось такое значение. В письме от 9 января 1955 года: *«Нам постоянно твердят, что в условиях атомной войны ноги будут играть весьма важную роль».* Что это значит — нам не объясняли.

Нас настойчиво готовили к войне. Судя по всему, командование — сверху донизу — верило в ее неизбежность.

1.1.1955. «У нас проводят специальный курс противоатомной защиты. Армию готовят именно к атомной войне, это не то что красной, пунцовой нитью проходит через все занятия… На днях я был на собрании комсомольского актива полка. Собрание шло в общей сложности часа 4-5. Доклад делал гвардии полковник Хотемкин, командир нашей части, зачитал приказ Малиновского *(Командующего округом.*—Я. Г.), общий смысл которого заключался в следующей цитате: „Беспощадно бороться с послаблениями и упрощенчеством в практике боевой и политической подготовки войск, памятуя, что нам необходимо учиться воевать в сложных и трудных условиях с коварным, умным и сильным противником"».

Гвардии полковник Хотемкин был фигурой весьма примечательной. Высокий, массивный, с отличной

выправкой, он служил в армии с 1918 года, то есть с Гражданской войны. Во время Великой Отечественной, как нам рассказывали офицеры, командовал дивизией. Не стал генералом и получил в мирное время хотя и особый, но все же — полк, потому что не имел никакого специального военного образования. Практиком, профессионалом он, судя по всему, был крепким.

У него была любимая идея — пехотинец не должен ходить пешком. Пехотинец должен бегать. Отсюда и многокилометровый утренний бег, судя по моим письмам, постепенно увеличенный до пяти километров. И вообще мы и в самом деле ходили мало. Мы бегали в клуб, в кино по воскресеньям, бегали в нашу «столовую» под открытым небом, бегали в сопки к месту тактических занятий. Еженедельный поход в баню в поселок порта Ванино походил скорее на марш- бросок: сто — бегом, сто — пешком.

О полковнике ходили легенды. Говорили, что он, несмотря на свой вес и возраст, крутит «солнце» на турнике и стреляет с одной руки из трехлинейки. Насколько это соответствовало действительности — не знаю, но существование этих легенд говорило о необычности фигуры комполка.

Чуть отвлекаясь, надо сказать, что наша баня — это особый сюжет. Дело не в том, что там было холодно, горячей воды не хватало, времени на мытье нам давали мало — мыться надо было так же стремительно, как и производить все остальные действия. Не это главное. К бане — одноэтажному кирпичному строению — примыкало необозримое пространство, обтянутое колючей проволокой, которая шла непосредственно от ее угла. Один вход, которым мы и пользовались, был вне проволоки, а второй — в глубине банного помещения, наглухо закрытый, выходил в огороженное пространство. За проволокой ходили какие-то серые, сутулые — по теперешнему зрительному воспоминанию — люди в ватниках. Я тогда совершенно не задумывался, кто это такие. И гораздо позже сообразил, что баня эта была лагерная, а люди в ватниках — заключенные. Просто полковую баню построить не успели и водили нас в эту.

И вообще знаменитый Ванинский порт — эти страшные для сотен тысяч зэков морские ворота в мрачный мир Колымы — никак не ассоциировался у меня с террором, в частности с судьбами двух моих дядей, старших братьев отца… И великую песню политзэков «Я помню тот Ванинский

порт...» я услышал только на следующий год, далеко от этих мест, в южном Забайкалье. Ее вдруг запел уголовник по прозвищу Голубчик, когда мы ехали куда-то по монгольской степи на студебекере, мощном американском грузовике, наследстве ленд-лиза военных лет...

Кстати, свежевыстроенный тогда городок, в котором жили наши офицеры с семьями, — он примыкал к расположению части, — существует до сих пор и называется поселок Хотемкино. Об этом говорится в той же книге Сесёлкина.

Рассказ о докладе комполка я закончил фразой: «Беспощадно бороться с послаблениями. Это вывешивается

у нас повсюду. Разумеется, гайку теперь подвинтят круто.

Что ж—солдаты».

Мы не знали, что дело тут не в суровости маршала Малиновского. В это время министром обороны стал призванный Хрущевым на вершины власти Жуков. И он подтягивал армию.

Казалось бы, завинчивать гайку туже, чем она была завинчена в в/ч 01106, было некуда. Отдельный стрелковый полк жил идеально по уставу. Офицеры и сержанты обращались к рядовым только на «вы». Распорядок дня, о котором речь дальше, выполнялся неукоснительно. Сержант был царь и бог. Любой приказ должен был выполняться и выполнялся «беспрекословно, точно и в срок». Все, начиная от белизны подворотничка и до геометрического совершенства застеленной койки, от блеска пуговиц до блеска сапог, от четкости отдавания чести до умения строевым шагом подойти к помкомвзвода перед вечерней поверкой и доложить: «Товарищ сержант! Боевое и вещевое в порядке!» — все должно было соответствовать идеалу.

Если ты в редкие свободные минуты сидел на табуретке в проходе между койками, а по центральному проходу прошел сержант — свой ли, чужой ли — и ты, не заметив его, не встал, а сержант заметил, то тебя ожидала команда «встать-сесть» этак раз пятьдесят.

Разумеется, существовала круговая порука — за промахи одного отвечал весь взвод. Средство было действенное.

Однако оказалось, что резерв для «завинчивания» и борьбы с послаблениями все же был. Реально он выразился в частых ночных тревогах, когда среди ночи в казарму вбегали командиры рот и гремела команда: «Рота! Подъем! Тревога!» Это были батальонные учения. Весь батальон — две казармы, четыре роты, порядка шестисот человек, с оружием и

выкладкой, колонной по три, узость дорог и в тайге диктовала характер построения, — бежал в тайгу и там, разбившись на взводы, проводил тактические занятия. После возвращения в казарму досыпали, сколько оставалось времени, а в 6 часов: «Рота! Подъем! Взвод! Подъем!..» И день шел своим чередом...

Но все это было позже, а теперь надо ненадолго вернуться к первым неделям моего пребывания в этом новом мире.

Очевидно, контраст между ожидаемым и реальным вызвал у меня в первые дней десять что-то вроде депрессии. Иначе я не могу объяснить письмо, которое написал 12 ноября 1954 года и за которое потом извинялся. Да и теперь, через шестьдесят лет, перечитывая его, испытываю тяжелую неловкость. — «Здравствуйте, дорогие! Привет от вашего дальневосточного родственника. Как поживаете? Я здесь служу: бегаю, таскаю, копаю и т. д. Что и говорить, свалял ваш сын грандиознейшего дурака. Надо было, конечно, представить справку из вечерней школы и не рыпаться. Тогда, возможно, и не тронули бы меня. Ну да теперь поздно жалеть. Назвался груздем, полезай в кузов. Вот и лезу. Приходится иногда трудновато, ну да ничего. Довольно тоскливо здесь, по вам скучаю все-таки немного. Родственники как-никак. И живу больше в Ленинграде, чем здесь. Икается вам, должно быть, крепко. Вспоминается, например, такая картинка: Яков *Го*рдин, ученик в отставке, встает утром часов в 12, не торопясь одевается (здесь на одевание и раздевание дается по одной минуте), повалявшись предварительно полчасика и больше. Хорошо завтракает и затем, надев коричневый пиджак, идет на прогулку. После чего отправляется в Эрмитаж или в Публичную библиотеку, где занимается, ну, скажем, историей живописи. *(Между прочим, так оно и было. — Я. Г.)* Вернувшись домой и пообедав, час-другой переводит бумагу и чернила, а там ужинает и ложится спать, почитав на сон грядущий любимое место из „Д. Грея" о драгоценных камнях. Иногда, впрочем, перед сном он гулял по Невскому. И так до 14-го числа. Недурно. Контраст велик. И очень... Самое неприятное во всей этой истории—это то, что попал в пехоту. Здесь тяжелее всего».

Идиллическая картина летних месяцев между окончанием школы и призывом не совсем соответствует действительности. Это — мечтания. Помимо прочего я занимался тригонометрией, чтобы получить аттестат. Кроме того, много времени мы проводили втроем с друзьями — Борей Иовлевым, моим одноклассником, и Юрой Романовым, Бориным соседом.

У Юры были отдельная квартира и пианино, на котором он лихо играл. Разговоры были сугубо философические. С удивлением вспоминаю, что мы всерьез обсуждали «Что делать?» Чернышевского и, в частности, опыт Рахметова.

В апреле 1955 года Юра прислал мне стихотворение, посвященное этому замечательному лету. Оно называлось «Трое в лодке. По мотивам „Ариона"».

Было трое на челне:
Ницше, Цфасман, Пифагор —
Были счастливы вполне,
Не бывало драк и ссор...
Но поднялся страшный шторм,
Ветер мрачно завывал,
Не блюдя приличья норм,
Налетел девятый вал.
Развалился утлый челн,
И поплыли с этих пор
На «авось» по воле волн
Ницше, Цфасман, Пифагор...

Обо мне было сказано: «Ницше сгиб в пастях акул. За неделю или две...»

Цфасман — это, разумеется, музыкальный Юра, Пифагор — знаток математики Боря.

Боря поступил в медицинский институт, Юра, который был на год меня моложе, — в какое-то училище. «Я теперь металлист», — писал он мне. (Через несколько лет он таки попал в армию и отслужил в железнодорожных войсках.)

«В пастях акул» я не «сгиб», но первые недели мне было тошно, как и явствует из цитированного письма.

Письмо это было написано через неделю после прибытия в полк, но уже 8 декабря 1954 года я писал: *«Не беспокойтесь — я снова на коне. Первые дни было довольно тоскливо, кроме того, я немного испортил в конце дороги желудок, и вот меня, пардон, прослабило двумя идиотскими письмами: 1-ми 2-м. Никогда себе не прощу, что позволил себе раскиснуть. (Фи, что за стиль — два слова „себе" в одной фразе!) Не принимайте этот скулеж во внимание».*

Тон писем постепенно стал спокойный и информативно-деловой.

В том же письме от 12 декабря: «Бабушка, милая, не

беспокойся за своего внука, он здоров, как табун лошадей. И опасность замерзнуть ему не грозит. Он обмундирован, как положено солдату, а уж на учении в самый страшный холод жарко, как после бани. Приходится много и быстро двигаться, и не налегке, а с оружием, лопаткой, противогазом и т. д. Да и вообще никаких „жутких" морозов здесь нет, я ведь живу на берегу океана. Ниже -30° не бывает... Очень мало теперь времени. Занимаемся строго по расписанию. Так называемого „личного времени" в день остается час, и за этот час надо успеть и подворотничок постирать и подшить, и сапоги начистить, и пуговицы надраить, да мало ли что надо... Я вот пишу, а сержант играет на гармони „Клен кудрявый, клен кудрявый, лист резной... Резной-то он, может, и резной, а писать мешает».

Бабушка волновалась, что я буду конфликтовать с начальством. «А что касается моих „обычных капризов", то, бабушка, дорогая, должен тебе сообщить, что тот, кто служит в стрелковом полку „особого назначения", очень быстро учится прятать все свои капризы в самый дальний карман».

Да, капризничать не приходилось.

21.XI.1954: «Я продолжаю трудиться на различных амплуа. Сбылась моя заветная мечта—и грузчиком я тоже поработал. Грузили лес на лесопилку, разгружали тракторы. Здесь у сосен интересная кора—темно-малинового цвета. А в лесу я так и не побывал еще. Не приходится пока. Но по этому самому лесу мне еще придется побегать и поползать с полной выкладкой—32 кг. Надо признаться, что Арсеньев путешествовал по этой самой тайге в более комфортабельных условиях. Когда нам разрешат посылки (ведь по тому адресу, который я вам пишу, могут дойти только письма, а другого нам пока не говорят), вы пришлете мне его книги».

Относительно выкладки в 32 кг — ее в полном виде испробовать не пришлось. Но когда начались тактические занятия, то груза на нас было навешано достаточно — оружие (у меня сперва был СКС — самозарядный карабин Симонова, очень легкий, килограмма четыре; потом, как увидим, мне достался РПД — ручной пулемет Дегтярева, штука громоздкая, 9 кг с полным диском), саперная лопатка, две гранаты, два подсумка, противогаз (на случай атомной войны, очевидно). До 32 кг, конечно, далеко, но весило все это порядочно и очень мешало бегать и ползать. Надо иметь в виду, что наши тактические занятия в сопках проходили по колено в снегу, а то и выше, что тоже не облегчало движение.

Закаляли нас не только утренний бег и изнурительные ежедневные штурмы сопок, но и погода, постепенно

становившаяся все суровей.

Был период, когда приуныли даже самые крепкие ребята. Однажды вечером, после особенно изнурительного дня и ночной разгрузки, несколько ребят-молдаван обсуждали, долго ли мы выдержим. Один из них сказал, кивнув в мою сторону: «Этот загнется первым». Я сделал вид, что не слышал, и подумал про себя: «Как же. Жди...». Низкий поклон Джеку Лондону. Я верил, что пройду путь Смока Белью, городского интеллигента, ставшего неутомимым золотоискателем.

22.XII.1954. «Я жив, здоров, как и прежде. Но погода здесь помаленьку сходит с ума. Причем помешательство весьма буйное. Уже два дня на улице буран. Ледяной воздух и паршивый ветер. Городок стоит на сопках, и ветер чувствует себя здесь как дома. У него очень противный голос. Он не просто завывает, но как-то странно стучит, хлопает, грохочет. Мы уже второй день не высовываем носы из казармы. Полевые занятия прекращены. Но завтра, должно быть, несмотря на погоду, они возобновятся. На то мы и солдаты. В казарме тепло—натопили все печи. А на дворе противно до крайности. Ветер кружит редкий острый снег. Ходить по улице не совсем удобно—скользко немилосердно, а тут тебя еще рвет, мнет, гнет... Что ж, однако, мы ведь не на курорте. Холода эти и ветры навряд ли долго продолжатся. Но пока прохладно. Хлеб за время пути от кухни до казармы—метров 300 — промерзает насквозь. Это, однако, не мешает есть его с большим аппетитом. Вообще аппетит у меня превосходный — частые прогулки на очень свежем воздухе и некоторая затрата физических сил этому способствуют».

Тут надо объяснить ситуацию с кухней и казармой. Как я уже упомянул, городок наш был еще не достроен. В частности, не было столовой. Клуб для комсомольских собраний был, а столовой не было. Рядом с кухней были сколочены неимоверной длины деревянные столы — каждый с расчетом на взвод: от 30 до 40 человек. Весь ноябрь мы завтракали, обедали и ужинали на улице. С середины ноября начались морозы, пока еще небольшие. Но их вполне хватало, чтобы еда мгновенно остывала.

С какого-то момента к нам стало поступать продовольствие из Китая. Рис, свинина. Будучи в наряде на кухне, я видел замороженные свиные туши с клеймом из иероглифов. Все, чем нас кормили, было предельно жирным. И рисовая каша, ставшая постоянным блюдом, с кусками китайской свинины, успевала застыть, пока мы торопливо хлебали щи или борщ, сдобренный той же свининой.

С декабря, когда ударили настоящие морозы, мы стали питаться в казармах, в учебных классах. Еду дневальные приносили с кухни в бачках, а хлеб и масло путешествовали по морозу, и, соответственно, успевали замерзнуть.

С Китаем нас связывало еще одно приятное обстоятельство. В отличие от обычного армейского меню, когда компот полагался только по воскресеньям, мы получали компот из изюма каждый обед. Изюм, насколько помню его упаковки, тоже был китайский. Все это происходило до XX съезда с антисталинским докладом Хрущева, и с Китаем мы были «братья навек»…

Постепенно я вживался в этот новый для меня и совершенно неожиданный мир, отнюдь не похожий на тот, который я себе представлял.

Я жил, так сказать, в двух измерениях. Новый мир становился неизбежной реальностью и заставлял трезво смотреть на себя вчерашнего. Об открытке, которую написал перед прибытием в часть и которую уже цитировал, 19 ноября 1954 года я отозвался так: *«Она до краев полна тушиным оптимизмом. Вообще тех качеств: щенячества и петушества, что ли, во мне немного было. Грешен. Но уж теперь и следа не будет. Но учтите, когда я писал вам о переоценке ценностей, речь шла не о моих взглядах, а лишь о неумении ценить материальные блага».* То есть ницшеанец остался ницшеанцем.

Родители, весьма скептически относившиеся к моим философическим установкам, теперь старались поддерживать это «брутальное» самовосприятие.

«„Сильная личность" — пишешь ты, мама. На недостаток силы не жалуюсь, но до идеала еще далеко. (Или время „смеющихся львов" еще не пришло, или „человек на коне", увы, проехал мимо, не коснувшись моего плеча клинком меча своего двуручного, обоюдоострого, как сказал бы д'Аннунцио.)».

Я учился ценить те «материальные блага», которые предоставляла новая жизнь. Особенно воскресные дни.

16.1.1955. «Воскресенье. Свободное время, как не написать… Пишу в классе. В казарме у каждого взвода (а их четыре) свой класс, где взвод занимается, кушает, отдыхает. Сейчас здесь полно народу. Двое играют на баянах, командир 1-го отделения сержант Каштанов, симпатичный парень очень солидного роста, развлекается двадцатикилограммовой гирей. Сержанты зовут его между собой „Малюткой"».

Особенностью роты была ее многонациональность. Основу составляли два землячества — западные украинцы и

молдаване. Почему-то они между собой не ладили. И это было единственным серьезным фактором межнационального напряжения. Были казахи, узбеки. Несколько евреев из Львова и Ленинграда. Было несколько ребят из Сибири. Антисемитизм фактически не ощущался, за исключением напряженного высокомерного отношения некоторых украинцев из Львова к своим же землякам евреям. На ленинградцев это не распространялось. Для сибиряков еврей вообще был фигурой экзотической.

В один из первых дней после сформирования роты одному из этих сибирских ребят было поручено составить список солдат по национальностям. Он, соответственно, подошел ко мне. «Ты кто по нации?» — «Еврей». — «Да брось ты! Я же серьезно...» Не без труда я его убедил, что я тоже серьезно. Как я догадываюсь, относительно межнациональных отношений в полку существовали вполне определенные инструкции, которым должны были неукоснительно следовать сержанты. Я помню характерный эпизод. В нашем взводе был львовчанин с подходящей фамилией Львовский. Персонаж не очень симпатичный — вне зависимости от его национальности. Зачем-то он стал передразнивать вполне симпатичного парня, который слегка заикался. Тот обиделся, сообщил Львовскому, что он «жидовская морда», и предложил выйти поговорить. Львовский не то чтобы пожаловался командиру отделения, но обратился к нему, как к третейскому судье, — надо ему идти драться или нет? Не забыл он и данную ему характеристику. Это был, конечно, не лучший маневр, который популярности Львовскому не прибавил. Реакция сержанта была предсказуема. Все трое наших командиров отделения собрали вокруг себя свидетелей и участников инцидента, и помкомвзвода Каштанов, двухметровый «малютка», произнес железным голосом формулу, которая, безусловно, была твердо рекомендована для подобных случаев: «Вам завтра вместе в бой идти!

А вы...» Эту формулу я слышал каждый раз, когда возникали любые трения, имеющие национальный оттенок...

Казарменный быт становился жизнью.

Воскресный обед: «Густейший перловый суп, мясной причем, пшенная каша, жирная, с кусками свиного сала. Компот и хлеб. Обед недурной, сытный».

7.XII.1955. «Новый год на носу. В школе каникулы — самое распрекрасное время. Михаил *(Мой брат учился в 7-м „Б" классе.* —Я. Г.) строит планы развлечений, не так ли? У меня в это время

тоже будет развлечений достаточно. Что ж, каждый развлекается по-своему. Михаил будет развлекаться, посещая кино, Эрмитаж, читая книги. У меня иные развлечения. А именно:

1. Утренняя зарядка — бег в гимнастерках, сапогах, упражнения на свежем воздухе. **(Когда наступила настоящая зима, мы стали бегать по утрам уже не в шинелях на нижнюю рубашку, а в гимнастерках без шинелей.—*Я. Г.)***

Второе развлечение—строевая подготовка два часа в день, хождение строевым шагом, повороты, развороты и т. д.

Третье развлечение—тактические занятия, штурм сопок, атаки, ползанье по-пластунски, перебежки.

Кроме этого, занятия в классах. Ну, это ерунда, это не сложно. Политзанятия, изучение оружия—это особой трудности не представляет. И вообще жить можно. Ничего страшного нет и не предвидится. Оружие новое, засекреченное. Все, что о нем говорится на занятиях, записывать запрещается, только на память».

В полку, как я впоследствии выяснил — не только в учебном батальоне, был культ оружия. Во время тактических занятий, когда мы бегали и ползали в тайге по глубокому снегу, оружие основательно отсыревало. После тактических занятий следовал обед, а затем обязательный часовой сон. После чего наступал черед оружия. Его разбирали на специальных столах, чистили, смазывали. Для того чтобы можно было проникнуть в любые закоулки механизма, мы вырезали разной формы — весьма причудливой — палочки-инструменты. Классический вариант—разборка-сборка оружия на скорость. Перед вечерней поверкой приходил командир роты, капитан, — мне он очень нравился, — и выборочно проверял состояние оружия. Рота стояла в строю и с замиранием сердца ждала результатов проверки — не дай бог, капитан обнаружит какое-нибудь пятнышко в стволе…

Таких случаев не помню. Чистили на совесть.

Чтобы понятие «оружие» не было абстрактным, конкретизирую.

На вооружении отделения были — ручной пулемет Дегтярева (первый номер — стрелок-наводчик, второй номер), стрелок-наводчик носил кроме самого пулемета два диска, второй номер — стрелок-карабинер, еще два диска. Пулемет весил 9 кг со снаряженным диском.

В отделении было два автоматчика. АК — автомат Калашникова. Если память не изменяет, один из автоматчиков таскал еще и примитивный гранатомет. Остальные были вооружены СКС — самозарядными

карабинами Симонова. Численность отделения точно не помню, врать не буду, — до 10 человек, считая сержанта.

22.XII.1954. «У нас скоро будут двухдневные полевые учения. Будем жить в собственноручно вырытых блиндажах. Погуляем на славу».

Учения были. Никаких блиндажей в мерзлоте мы вырыть, естественно, не могли. Ночевали в снегу у костров. Правда, экипированы были по-новому — телогрейки и ватные штаны, валенки.

9.1.1955. «Обучаемся рукопашному бою. Тактические занятия становятся интереснее, *с* разведками, предполагаемыми атомными взрывами и т. д. Но значительно более трудными. Много беготни».

Здесь нам и объяснили, что в случае атомной войны ноги будут играть первостепенную роль...

Холод нас донимал основательно. Особенно во время строевых занятий на плацу, открытом всем ветрам — особенно сырому ветру с Охотского моря. А строевые занятия проводились в шинелях и сапогах. Вот тут-то ребята и обмораживали себе физиономии.

Меня до поры Бог миловал. Но — до поры.

В декабре мы стали регулярно ходить на стрельбище, которое располагалось в тайге — километров 7-8 от расположения части. Как правило, это были марш-броски.

26.XII.1954. «Во время одной из длительных прогулок по тайге я слегка подморозил себе нос. Было довольно морозно, но главное—сильнейший ветер, а это отвратительная штука. Я потом отогревал нос на костре, но это не совсем помогло. Вернулись в казарму, он, подлец, припух и покрылся отвратительной коркой. *(Корка была, как сейчас помню, черная.*—Я. Г.) „Ну,—говорили мне, — быть тебе без носа". Это меня не особенно обрадовало. Возможность уподобиться милейшему Панглосу не слишком меня вдохновляла. Пошел в санчасть. Смазали нос какой-то мазью и наложили повязку, которую я на другой день выкинул: она меня чересчур уродовала и не давала сморкаться. Прошла неделя, и вместе с ней прошли и все мои обморожения. Нос на месте—нормальный и розовый. ..Ас носом я дешево отделался. В тот раз многие обморозили руки: во время стрельбы приходится нажимать спуск карабина голой рукой—рукавица толста. Но когда я уезжал, папа сунул мне в карман свои перчатки, они у меня сохранились, и в них я и стрелял».

Как нам и обещали, обучение наше проходило весьма интенсивно. Жизнь стала настолько плотной, что я пропустил свой день рождения и вспомнил о нем только через три дня. 0

чем с изумлением написал домой.

Насколько эта интенсивность была результативна в смысле профессиональном — вопрос другой. Стреляли мы мало. Насколько навыки, полученные на тактических занятиях и батальонных учениях, пригодились бы в реальности — не знаю.

Теоретически нас обучали командовать стрелковым отделением в бою. Но умения скомандовать: «Короткими перебежками, справа, слева по одному — марш!» явно недостаточно. Из рассказов наших сержантов, окончивших эту же полковую школу, особого разнообразия в обучении не предвиделось.

Тактические занятия — особенно в зимних условиях— вырабатывали физическую выносливость. Что да, то да.

Правда, я не могу судить о качестве обучения с полной ответственностью, так как курса не кончил. Об этом речь впереди.

Но две вещи я успел усвоить по-настоящему: обращение с оружием и строевую подготовку. Во всяком случае, когда мне пришлось значительно позже обучать этому искусству — строевой подготовке — взвод новобранцев, то никаких сложностей у меня не возникало.

Что до оружия, то столь плотное, ответственное и подробное общение с ним сформировало особые, почти личные взаимоотношения с этим убийственным железом. И когда через несколько лет во время работы на Крайнем Севере мне снова пришлось постоянно иметь дело с оружием — в частности, с охотничьим карабином (в то время это был, собственно, боевой кавалерийский карабин, укороченная трехлинейка), то я сразу же ощутил знакомое чувство родства…

Одно обстоятельство осложняло мне жизнь психологически — у меня не было не только друзей, но даже приятелей. Ровные отношения со всеми.

Среди нашей национальной пестроты были славные ребята, несколько десятиклассников из Львова и Сталинграда. Некоторые ребята, непонятно как попавшие в полковую школу. Один парень из глухой сибирской деревни с трудом писал и читал. Более того, он совершенно не представлял себе историю XX века — о более ранних временах я не говорю. Для него Октябрьская революция была совершенно неизвестным сюжетом. Меня прикрепили к нему, чтобы я хотя бы приблизительно познакомил его с основными событиями нашего времени.

Не было никого, с кем мне хотелось бы сойтись. С кем можно было бы поговорить. Армейская дружба — явление в своем роде замечательное — в моей судьбе состоялась, но позже и в другом полку.

Одиночество компенсировалось воспоминаниями главным образом о том культурном мире, который был мне так близок и дорог в прежней жизни. Как я уже писал, я жил в двух мирах. И когда случайно попадался человек, с которым можно было поговорить о том мире, это было необыкновенной удачей.

9.1.1955. «В городке много самого разнообразного народа. Есть люди с высшим образованием. Я познакомился в одно из воскресений с занятным парнем, казахом, педагогом. Он окончил филологический факультет пединститута, три года преподавал в старших классах, а теперь попал в армию. Неглупый, симпатичный человек. Вместе с ним служат здесь его ученики. Он не в нашей роте, и мы встречались пару раз по воскресеньям где-нибудь у магазина. Поболтали немного. Побеседовали о вещах здесь довольно неуместных—о романтизме, эстетизме. Окрестные заборы и лиственницы навряд ли слышали раньше что-либо подобное. Он сказал, что из меня выйдет хороший литератор, он, мол, окончил институт и не знает всего, что я знаю. Вот как. Литературой мы через три годика еще подзаймемся».

Все, что напоминало о другом мире, вызывало сильное и, как правило, нерадостное чувство.

19.XI.1954. «Сейчас шел по снегу, вернее, по камням, облитым льдом и слегка снегом припорошенным, из казармы в клуб, на столбе радио—программа передач на завтра, хабаровская радиосеть. Концерты, концерты, имена Грига, Сен-Санса и даже, очень неожиданно, Рихарда Штрауса. Это показалось мне таким странно-далеким среди этих сопок и казарм, что стало как-то не по себе. И правда, подумайте,

друзья;—Роллан, Франс, музыка, все это осталось за 12 тысяч км позади и ушло на три года вперед. В казарме у нас нет радио, но я подписался на „Известия" и буду в курсе политических событий. Будем надеяться, что не совсем приятная возможность отупеть мне не грозит. Будем надеяться, что для меня останутся и Вольтер, и Лермонтов, и Цвейг, и Достоевский. Кстати о последнем. Я перечел „Леди Макбет Мценского уезда", и пришло мне в голову, что этот сюжет больше подошел бы Достоевскому. И дело тут в стиле. Стиль Лескова часто, а в частности в „Леди какой-то прибауточный, и это не дает ему возможности использовать до конца возможности сюжета».

Не будем строго судить эти литературоведческие

экзерсисы восемнадцатилетнего стрелка-карабинера…

Листая свои письма теперь, я поражаюсь: когда же я — он!—умудрялся столько читать при нашем железном распорядке? Книги я брал в ротной библиотеке. Не знаю, когда и как успели ее собрать, но книги там были вовсе недурные. И какие-то возможности для чтения я изыскивал. Главным образом, конечно, по воскресеньям.

25.XI.1954. «Читал Лескова, и, по совести говоря, не все мне понравилось. В последних вещах не хватает компактности, они какие-то расплывчатые. А еще почитываю помаленьку Брандеса. Я ведь захватил с собой „Гейне и Хорошо, толково. Не думал Георг Брандес, в каких условиях и при каких обстоятельствах будут читаться его книги. А написано прекрасно. Образец ясного и сильного критического стиля. Это вам не сумасшедший Айхенвальд с его истерическими этюдами.

Ох, моя тумбочка с книгами, мне ее сильно недостает».

Современный читатель, особенно немолодой, в какой-то степени осведомленный о библиотечных нравах советской эпохи, задает себе вопрос — откуда молодой всезнайка брал все эти книги? Как ему в руки попали Ницше и Георг Брандес?

Мне чрезвычайно повезло. Мой отец, сотрудничавший с издательствами, базирующимися, в частности, в Доме книги, был читателем библиотеки Гослита, переименованного позже в «Художественную литературу». Это была одна из тех библиотек, в которые сразу после революции свозили конфискованные библиотеки, как частные, так и принадлежавшие закрытым большевиками культурным учреждениям. Соответственно, там были редчайшие книги. (Таким же образом была составлена уникальная библиотека ленинградского Союза писателей, теперь пропавшая.) И я брал книги на отцовский абонемент. Библиотекарши мне симпатизировали, и я получал все, что хотел. Включая полное собрание сочинений Ницше. Оттуда же д'Аннунцио и Пшибышевский. Брал я там Гамсуна, Стриндберга, Штирнера, Ибсена и т.д.

Но был у меня еще один важнейший источник.

10.11.1955. «Вы уже, наверно, выпотрошили мою тумбочку и видели, что там были книги по истории литературы, музыки, по психологии, биологии, физиологии, эстетике, философии. В основном я читал все. Но, увы, занимаясь одновременно таким количеством наук, фундаментальных знаний не получишь, и я остался дилетантом во всех этих областях. Погоня за многими зайцами. Вообще, я чувствую родство со многими книжными

героями. Это, должно быть, оттого, что во мне самом много книжного, от книги. Не знаю, хорошо это или плохо. Пожалуй, хорошо».

Оставим на совести стрелка-карабинера утверждение, что он прочитал, а не просмотрел все эти книги. Но источником этих сокровищ — а там были редкие книги, в том числе изъятые из библиотек после ареста или опалы авторов, — был огромный книжный шкаф, стоявший в коридоре коммунальной квартиры возле двери в наши комнаты. Это была библиотека одного из старших братьев моего отца, дяди Владимира, арестованного в тридцатые годы и пропавшего без вести. Он был активным участником антисталинской оппозиции, человеком безусловного литературного таланта и широчайшей начитанности. Книги в этом шкафу стояли в два ряда, и я осваивал его содержимое не один год.

Что до музыки, то тут я имел редкую удачу пользоваться библиотекой известного актера Владимира Алексеевича Таскина (он был одним из премьеров «Нового театра», переименованного в пятидесятые годы в Театр им. Ленсовета), друга моих родителей и, смею сказать, моего старшего друга. Он был сыном пианиста, аккомпаниатора Шаляпина, и сам прекрасный пианист. У него был уникальный подбор книг по истории музыки. Он, в частности, дал мне прочитать автобиографию Вагнера и привил интерес к его музыке.

От него же я получил автобиографии Джона Стюарта Милля, поразившего меня тем, что чуть ли не в четыре года по настоянию отца, известного философа, изучал латынь, и Герберта Спенсера. Это было особенно интересно — ведь Мартин Иден был последователем Спенсера. Обе автобиографии были в некотором роде интеллектуальными «романами карьеры» и весьма стимулировали мое воображение и честолюбие.

С музыкой дело обстояло неважно—два баяна и гармонь, на которых недурно играли наши сержанты в редкое свободное время, не совсем удовлетворяли мои меломанские привычки.

Хотя бывали и светлые моменты.

10.XII.1955. «У нас в казарме теперь поставили радио. Иногда удается послушать неплохие, а иногда совсем хорошие вещи. Слышал недавно „Венецианскую ночь", „Песню певца за сценой". А как-то передавали концерт какого-то пианиста. В программе Дебюсси. Моцарт. Моцарт поразительно хорош, нежен, но на меня большее впечатление произвели, да и всегда производили

стремительные пассажи „Садов под дождем". А еще лучше Вагнер. Я бы сейчас дорого дал, чтобы послушать увертюру к „Моряку-скитальцу". Он мне ближе, чем Моцарт с его нежностью. Все-таки по натуре своей я не сентиментален. Отвык. Да. А Моцарт напоминает мне Тургенева в музыке. О Тургеневе один из героев

Горького сказал: „Тургенев — кондитер. У него не искусство, а пирожное. Настоящее искусство не сладко, оно всегда с горчинкой". Доля истины здесь есть. И изрядная».

Дело в данном случае не в том, насколько прав персонаж Горького. Просто юному меломану и книжнику, чтобы чувствовать себя настоящим солдатом, органично существующим в новой среде, необходимо было культивировать именно суровость, брутальность. Это был естественный для него — через культуру—способ психологического выживания…

При этом жестко структурированный быт, в который он теперь был встроен, провоцировал тягу к внутренней упорядоченности.

Тоже 10 февраля. «Занятная вещь. Читая Самгина, я снова почувствовал, что между нами есть нечто общее. Например, возьмем такой отрывок: „Самгин не впервые представлял, как в него извне механически вторгается множество острых равноценных мыслей. Они противоречивы, и необходимо отделить от них те, которые наиболее удобны ему. Но когда он пробовал привести в порядок то, что слышал и читал, создавая круг мнений, который служил бы ему щитом против насилия умников и в то же время с достаточной яркостью подчеркивал бы его личность,—это ему не удавалось. Он чувствовал, что в нем кружится медленный вихрь различных мнений, идей, теорий… Его уже страшило это ощущение самого себя как пустоты, в которой непрерывно кипят слова и мысли, кипят, но не согревают. Он даже спрашивал себя: „Ведь не глуп же я?"

Хотите, смейтесь. Но мне это знакомо. Разумеется, кроме „насилия умников". Я тоже еще не успел создать из всего того, что я знаю, четкий круг мнений, который бы с достаточной яркостью подчеркивал мою личность. Я читал много и слишком быстро, не успевая приводить в систему ранее приобретенные знания».

Да, с книгами было лучше, чем с музыкой.

Воскресный день 16.I.1955. «Отдыхали сегодня после обеда полтора часа. Спать я не спал, а читал Толстого. До обеда

прочитал „Хаджи-Мурата". Превосходно. Такая умная про

стота, что просто завидно. На отдыхе прочел „За что?". Это уже не то. Вообще в последних его „толстовских" произведениях меняется стиль. Становится проще, суше, фразы короче… Завтра

опять в сопки. „Вперед, ура!" <...> В Эрмитаж хочется сходить, но, к сожалению, далековато, за воскресенье, пожалуй, не успеть».

6.11.1955. «Я кончил Синклера „Между двух миров". Хорошо. Очень. Ланни Бэдд—занятная фигура, не знаю, правда, насколько жизненная. Но меня она заинтересовала—нас есть кое-что общее.

Книга, без сомнения, умная, но есть одна фраза, которая, увы, кажется мне сильно сомнительной. Речь идет о книге Гитлера „Моя борьба". Синклер говорит: „Гитлер заимствовал свои фантазии из вагнеровской версии мифа о Зигфриде, а также у Ницше, который, как известно, сошел сума, и у Хьюстона Стюарта Чемберлена, которому и сходить-то не с чего было". Насчет умственных способностей Чемберлена Синклер осведомлен лучше меня, поэтому сия сторона вопроса дискуссии не подлежит. Но он, по-видимому, не имеет ни малейшего представления о „вагнеровской версии мифа о Зигфриде". Таковая версия действительно существовала. Вагнер сам писал либретто „Зигфрида", как, впрочем, либретто всех своих опер. Однако эта опера была написана в эпоху европейских революций 30-го года. Молодой Вагнер в это время находился под влиянием весьма радикальных идей, он принимал участие в революции вплоть до ломки мебели в правительственных учреждениях. Он раздавал листовки солдатам. Его искали, заочно приговорили к расстрелу. Он был вынужден бежать в Швейцарию. О „Зигфриде" он писал: „Это революционная опера. сам Зигфрид—тип социалиста-искупителя, пришедшего на землю, чтобы освободить людей от власти И маловероятно,

чтобы социалист-искупитель мог послужить прототипом гитлеровского „арийца". Вот вам „вагнеровская версия мифа о Зигфриде". Навряд ли она вдохновляла фашистов».

Стрелок-наводчик ручного пулемета — в феврале 1955 года я уже сменил должность и род оружия — судит, конечно же, весьма поверхностно. В системе демагогии национал-социалистов этот «социалист-искупитель» был вполне уместен. Но опять-таки не будем слишком строги к девятнадцатилетнему — уже — поклоннику Вагнера, который на память цитирует текст вагнеровских воспоминаний. Вагнер и его музыка были частью мира, контрастного казарменному миру в/ч 01106, а потому хотелось их защитить.

Далее: «Что касается Ницше, то здесь мое мнение вам известно. Синклер, как и многие другие, прибегает к очень некрасивому приему—„который, как известно, сошел В этом Ницше упрекают все его противники. Но это же смешно, наконец.

Кант сошел с ума, Клейст сошел с ума, Гоголь сошел сума. Да мало ли крупных людей кончало безумием. Это же не их вина. Почему никто не упрекает человека в том, что он заболел раком? Недавно мне попался в руки кусок „Клима Самгина", несколько десятков страниц, вырванных из книги. *(Подозреваю, что книга пошла на самокрутки, поскольку махорку нам выдавали, а бумагу — нет.—*Я. Г.) Жаль, что не вся книга. И знаете, что мне показалось? Что Горький несколько идеализирует своих дам. Возьмите женские образы в „Самгине". Бог ты мой, какие сложности! Эта сумасшедшая Лидия, которая попросту бесится, окружена ореолом каких- то исканий духовного порядка, хотя дело значительно проще. Нехаева, еле-еле душа в теле, как говорится, а сколько философии. Тут вам и Метерлинк, и Сведенборг, и все, что угодно. А Марина? Что может быть проще? Попросту, как говорил Толстой, „глупая говядина". А тоже, оказывается, натура! И руководительница секты хлыстов, и черт знает что. Вообще старик склонен был к идеализации».

Был и еще эффективный способ поддерживать двойное существование — описание своих литературных планов предармейского года, о которых родители, скорее всего, не подозревали.

14 ноября, через десять дней после прибытия в часть — самые трудные психологически дни — я описал свою новую внешность. «Вы уже, наверно, забыли, как я выгляжу. Вернее, выглядел. Сейчас у меня вид несколько иной. Гимнастерка, галифе, сапоги 40-й номер, на портянки как раз. Бушлат—это верхняя одежда, раньше я никогда такой не видел. Должно быть, какая-то местная форма. *(Я — он — ошибался. Это была всеармейская повседневная форма.—*Я. Г.) Это такая куртка защитного цвета на ватной подкладке, но не ватник, повыше колен длиной, с боковыми карманами и медными пуговицами. И ушанка». *И далее, изложив различные предположения о будущей службе, автор письма вне связи с предыдущим резко меняет сюжет:* «Осведомите меня о своих литературных планах. У меня они, грешным делом, тоже были и теперь есть. И наполеоновские причем. Не что- нибудь, а историческая эпопея о походах Тимура. А что? Тема что надо. Тимур-ленг, Железный хромец, фигура грандиозная и нигде не описанная. И к Руси имеет самое непосредственное отношение. При нем были и народные восстания, например, одно из крупнейших в Азии в то время Самаркандское восстание. У меня был продуман план первой части. И материал был. *(Насколько помню, я отыскал в той же библиотеке Гослита, а возможно, в библиотеке Эрмитажа, куда я был вхож, на великое свое счастье, биографию Тимура, то ли прижизненную, написанную кем-то из*

его приближенных, то ли посмертную, но довольно подробную.—Я. Г.) Первая часть должна была называться „Путь к власти". А три-четыре первые главы написаны вчерне. Но от этих планов до исполнения очень далеко. И вообще все это придется на три года отложить».

Тимур и вообще исторический сюжет был выбран неслучайно. Кроме тех экзотических для советского школьника авторов, о которых шла речь, я был необыкновенно увлечен двумя историческими эпопеями — трилогией Яна «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю» и шеститомным сочинением Анны

Антоновской «Великий Моурави». И «Чингисхана», и «Великого Моурави» — шесть томов!—я перечитывал несколько раз. (Понятно, что на физику и математику времени не хватало.)

«Чингисхан» — роман высокого качества, не потерявший для меня и сейчас своей ценности. Что же касается «Великого Моурави», то, сравнительно недавно заглянув в шеститомник, увидел, что написано это весьма посредственно, а познакомившись в какой-то степени с историей Грузии, понял, что с исторической точки зрения эпопея Антоновской мало сказать уязвима. Главной бедой грузинских царей оказалась их неспособность обуздать, а то и уничтожить владетельных князей, мешавших становлению централизованного государства. Как известно, Сталин упрекал почитаемого им Ивана Грозного в том, что тот недорезал пять-шесть боярских семей. Отсюда и пошли все беды. По Антоновской, Георгий Саакадзе — Великий Моурави — и погиб, собственно, в борьбе за это государство. В одной из центральных идеологических сцен эпопеи, кстати, написанной очень напряженно, Саакадзе убеждает молодого царя Луарсаба разом покончить с князьями, съехавшимися в Тбилиси и собравшимися во дворце. Мягкий и благородный Луарсаб не решился. И эта боязнь прослыть Луарсабом Кровавым привела — по Антоновской — к тяжким последствиям для царя и для царства... Если Сталин читал роман — что было вполне вероятно (Антоновская была лауреатом его премии), то здесь он наверняка презрительно усмехался.

Саакадзе долго был моим героем, а его фраза перед одной из решающих битв: «Грузины! Счастлив тот, у кого за родину бьется сердце!» — оказывала на меня какое-то гипнотическое воздействие...

Некоторые из моих литературных планов, о которых

стрелок-карабинер, он же курсант полковой школы, сообщал своим родителям, в известной степени отгораживаясь этим от окружающей его реальности, для меня сегодняшнего стали сюрпризом. Я совершенно о них забыл.

3.XII.1954. «Читаю, правда, очень понемножку. Попалась мне любопытная книжица некоего Романовского „Книга и жизнь". Занятно. Это о Ленинской библиотеке. *(Недурна, однако, „ротная библиотека" — чего там только не было!—*Я. Г.) Кстати, я узнал оттуда, что в Ленинской библиотеке с 35-го года хранится пакет с дневниками Роллана, который по его завещанию будет вскрыт в 55-м году. Интересно, правда, что там понаписано. Только навряд ли их опубликуют. Чтение, чтение. Сколько еще осталось непрочитанного из того, что надо было прочитать, и подумать страшно. Гонялся сразу за десятью зайцами и поймал меньше половины. Правда, последнее время я историей довольно плотно занимался, но она меня интересовала в связи с моими литературными „замыслами".

Кстати говоря, то, что я вам расписывал насчет того, что у меня там главы из романа написаны, так вы не верьте, это, дети мои, ерунда, хвастовство какое-то дурацкое; то, что там написано, представляет из себя вещь весьма сомнительную. Планы были, это да, подробные, обширные и т. д. *(Однако сохранилась школьная тетрадка с фрагментами этих самых глав.—*Я. Г.) Кроме Тимура меня интересовала такая небезызвестная фигура, как *Г*аннибал. На эту тему я и материала собрал немного. Мне пришлось читать о том, как Флобер работал над „Саламбо". Там были указаны источники, которыми он пользовался. Это пошло только на плюс. Ведь *Г*аннибал брат Саламбо. Время действия передвигается лишь лет на пятнадцать. Пустяк. Я достал Тита Ливия, у него есть прекрасное подробное описание жизни *Г*аннибала в ходе Пунической войны. Достал Геродота. У нас в знаменитом шкафу нашел несколько книг на эту тему, очень полезных, не только по истории, но и по вопросам хозяйства, торговли древнего Востока и Рима. Потом приволок два толстых тома в светлых переплетах с головой Афины в золото-черном шлеме. *(Стрелку-карабинеру доставляло, видимо, удовольствие подробно вспоминать не только содержание, но и внешний*

вид важных для него книг.—*Я. Г.) знаменитая „Исто*

рия Рима" Момзена, ее еще Толстой рекомендовал Горькому. Мишка пытался ее читать. Очень, в данном случае, полезная книга. Там отношения Рима с Карфагеном рассматриваются самым подробным образом. Тут вам и нравы, и обычаи, экономическое положение, одним словом, все, что надо. А тема прекрасная. Карфаген—город таинственных и жутких богов,

странной религии и очень своеобразных обычаев. Сам *Г*аннибал яркая, сильная фигура. Многочисленные победоносные войны в Африке, Испании, Италии. Если его деятельность подать под определенным соусом, то она будет выглядеть очень неплохо. Полководец суворовского типа, любимый армией, борец против владычества Рима и т.д.». *При всем ницшеанстве все-таки — советский школьник...*

Уровень наивности и характер представления о ремесле исторического романиста понятны. Но здесь важны не эти юношеские заблуждения, а то самое стремление совместить несовместимые миры или, во всяком случае, минимизировать разрыв между ними, разрыв, который все еще переживался довольно мучительно.

25.1.1955. «Я, разумеется, здоров. Все бы ничего, если бы я не скучал по вам. И еще по книгам, своим книгам. По Роллану, Франсу, Лондону. Музыки нет. Кстати, о музыке. Я ведь думал, помимо всего прочего, писать роман о Бетховене. Много о нем читал, как вам известно. К счастью, у меня хватило здравого смысла сообразить, что сейчас это мне не под силу. Но вначале намерения были серьезные. Я даже собирался учить немецкий язык, чтобы читать непереведенные книги о нем. А их много. У меня в записной книжке, насколько я помню, сохранился список работ о нем. Но дальше планов, правда, очень подробных, и одной сцены романа: смерти Бетховена во время грозы, дело не пошло... Так вот, друзья, вы, сами того не подозревая, жили рядом с великим, а главное, необыкновенно плодовитым писателем — в проекте».

Слава Богу, чем органичнее я вживался в армейский быт, тем явственнее проявлялось чувство иронии по отношению к себе прошлому.

Однако время от времени появляются попытки продемонстрировать своим адресатам и некоторые литературные возможности, а не просто информировать их о происходящем.

18.XII.1954. «Еще бывает красиво на ночных тактических занятиях. Ночи очень лунные. В жидком пепельном свете горит белым холодным и блестящим пламенем снег. По его горящей поверхности — темные серые люди. Пни стоят, люди ползут. Красная ракета, озаряя поле розовым нежным светом, убивает фосфорическое мерцание снегов. Мягкая пелена с редкими красными блестками. Люди замирают, вжимаясь в снег. Ракета гаснет. Снова в синем сумраке ползет по полю острый колючий блеск».

Смысл приведенного пассажа не в его литературных

достоинствах — они весьма сомнительны, — а в том, что стрелок-карабинер таким образом переключал новый опыт в иную, знакомую стилистику.

Я читаю письма времен полковой школы с сочувствием и состраданием. Я-то знаю, для чего нужны были моему герою в первые месяцы все эти интеллектуальные рассуждения, безусловно завышенные утверждения о своей необыкновенной начитанности и описание грандиозных литературных планов, и романтизация ночных учений, во время которых отнюдь не приходилось любоваться красотами природы, и обширное описание судьбы и личности д'Аннунцио, почтение к которому я тщетно старался привить своим родителям, решительно предпочитавшим русскую классику.

Это был некий допинг, если не наркотик, помогавший преодолеть отчуждение от новой реальности и неожиданную для «почитателя и ученика Джека Лондона» тоску по близким, по дому, по Ленинграду.

Разумеется, я цитирую письма выборочно, пытаясь дать читателю представление о нетривиальности ситуации — столкновение книжной культуры с живой жизнью в ее жестком варианте.

Именно поэтому неожиданно — вне контекста письма — появлялись странные пассажи: «А знаете, есть такая книга „Трактат о драгоценных камнях", ее написал один древний грек, известный под фамилией Теофаст или Теофраст. Наверно, занятно. Да и вообще драгоценные камни, их магические свойства, легенды о них—какая интереснейшая тема!»

Почему вдруг возник этот Теофраст с его драгоценными камнями — в казарме, стоящей посреди унылых лысых сопок? Да все потому же...

Или: «Знаете что, товарищи, был такой поэт Роденбах. У нас есть такая толстая книга, там и история танцев, и переписка Екатерины с Дидро, и есть там краткие биографии писателей, художников и т.д. Там, по-моему, есть и о нем. Черкните несколько слов о нем, если нетрудно».

Что ему этот Роденбах, столь же неуместный, как и постоянно возникающий Дориан Грей? Все за тем же...

В письмах был и другой слой, куда более банальный, но без которого картина была бы ложной.

5.1.1955. «Здравствуйте, дорогие. Второго числа получил ваше поздравление. Спасибо, родные. Ничего, что оно немного запоздало, это не имеет значения. Я уверен, что все будет как надо и мы еще не раз отпразднуем эту дату вместе... В качестве

сувенира посылаю вам семечки мандарина, съеденного мной 1-го числа сего года. *(«Солдатские подарки» в честь Нового года.*—Я. Г.) Михаил, тебе поручается их посадить, „слезами поливать и улыбкой ". И смотри,

чтобы к моему приезду у нас в столовой благоухала мандариновая роща. И мы пили чай с лимоном под сенью мандариновых деревьев. Посади их позже, весной.

Итак, мандариновые семечки. Надеюсь, цензура не найдет в этом ничего предосудительного. А вообще трогательно, не правда ли? Последнее время я иногда задаю себе вопрос—уж не становлюсь ли я сентиментальным?»

Разумеется, для ученика Джека Лондона и Ницше сентиментальность была недопустима… И однако же…

9.1.1955. «Я пишу, как только предоставляется возможность. Писание писем вам—самое большое мое удовольствие. Мне очень приятна мысль, что эти письма дойдут к нам домой, вы будете держать их в руках, читать. Сентиментальность? Не знаю, возможно».

Это внутреннее состояние, впрочем, не мешало исправно штурмовать сопки, заниматься строевой подготовкой и рукопашным боем, бегать на стрельбище, после команды «Подъем!» через минуту стоять в строю, содержать в идеальном порядке личное оружие — свой СКС, вскакивать среди ночи не только для ночных тактических занятий, но и для разгрузки составов с углем или кирпичом, прибывавших на станцию Ванинского порта. И — как это ни забавно выглядит с высоты моего сегодняшнего возраста — мечтать о сержантских лычках.

3.XII.1954. «Я твердо решил получить сержантские лычки, и, если здоровье не подведет, я их получу…»

Тягость службы в эти первые недели определялась даже не столько физическими нагрузками, сколько — и не только для меня — каким-то психологическим напряжением, которое пронизывало воздух полковой школы. И не все это напряжение выдерживали.

В январе 1955 года я на несколько дней оказался в санчасти — полковом лазарете. Мы в очередной раз ночью разгружали платформы с углем. По случаю сильного мороза нам выдали валенки. На станции растоптанный снег превратился в слякоть, и валенки промокли. На обратном пути в расположение части — несколько километров по ледяной дороге — отсыревшая портянка примерзла к ноге. В результате я отморозил пятку. Она раздулась и приобрела странный желтый цвет. Естественно, комвзвода — старший

лейтенант—отпустил меня в лазарет. Там мне вскрыли эту пятку, выпустили образовавшуюся жидкость и убрали толстую отслоившуюся кожу. Пятка очень быстро пришла в норму, но дня три-четыре я провел, блаженствуя на больничной койке.

В одну из этих лазаретных ночей нас разбудила какая-то суматоха.

Тут же санинструктор сообщил, что привезли эстонца, который застрелился на посту. Он выстрелил себе под подбородок из карабина Симонова. Он был еще жив. Его оперировал капитан Цой (несмотря на корейскую фамилию — еврей), главный полковой хирург. К утру парень умер. Мы не спали всю ночь.

Ничего похожего на дедовщину в полку не было. Сержанты при всей суровости не выходили за пределы устава. Причиной самоубийства мальчика из Прибалтики, наверняка городского и, скорее всего, интеллигентного, — деревенские ребята были крепче, — могло быть только одно: он не выдержал этого особого психологического напряжения.

В отличие от меня он наверняка не рвался в армию, тем более на край света, и у него не было стимула превращать все это в сознательное испытание и дело чести. Он просто не мог так жить…

Надо сказать, что большинство — подавляющее! — сослуживцев того юноши, которого звали так же, как и меня сегодняшнего, воспринимали ситуацию гораздо проще и спокойнее, чем он. Попал в армию — дело естественное, — терпи. А потому историю юного ницшеанца, а по совместительству советского военнослужащего, вряд ли следует считать типичным случаем.

В письмах этого периода есть и еще сквозные сюжеты. Обсуждалась возможность, получив сержантские лычки, через год сдать на младшего лейтенанта — такая практика для десятиклассников была, — и уйти в запас, прослужив два года.

Это была мечта — максимально сократить себе срок службы.

Тогда я и представить себе не мог, что наступит момент, когда я стану всерьез размышлять — демобилизоваться или еще остаться в армии, послужить…

Между тем в жизни — скорее в службе — стрелка-карабинера произошли существенные изменения.

21.1.1955. «Приступим к новостям. Есть хорошие, есть и сомнительные. Впрочем, начнем со старостей. Первой, самой

древней, густым седым мохом поросшей старостью является то, что ваш дальневосточный и сын, и внук, и брат (в трех лицах единый) здоров и бодр, как табун ломовых владимирских битюгов. А это, вы мне все время пишете, — главное. Остальные старости, как то: зима, мороз, снег, особого интереса не представляют. Теперь новости. Дело в том, что у нас в полку происходила переформировка. По-видимому, нашли, что курсантских подразделений чересчур много, и часть их расформировали. нашу роту в том числе. Некоторых направили в другие курсантские роты, основную же часть — в строевые солдатские. Я попал в число последних. Несмотря на то что по своим успехам был ничуть не ниже тех, кто остался курсантами, а многих и выше. Однако свои причины здесь должны быть, и они есть. Вместе со мной в солдатские роты переведены еще некоторые из наших ребят, как то: Гликин Вульф Израилевич, Львовский Иосиф Абрамович и др. Следовательно, сержантское звание, так сказать, уплыло. И я три года буду иметь честь служить рядовым. Вот так. Я, однако, не унываю. Я не только ученик Д. Лондона, но и почитатель вольтеровского гения. И панглосовские афоризмы мне не безразличны. *(Имеется в виду афоризм Панглоса из повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» «Все к лучшему в этом лучшем из миров». —Я. Г.)* Тем более что наши судьбы в некотором роде сходны. У обоих несчастье с носами. Правда, я лишь слегка обморозил, а он совсем потерял нос». *Напомню, что у Панглоса был сифилис.*

Письмо нуждается в некотором комментарии.

Как выяснилось, роту не расформировали, а только основательно почистили, в чем был несомненный смысл. В ней были ребята малограмотные, неизвестно по какому принципу зачисленные в учебный батальон. Что касается национального принципа, то он, думаю, некоторую роль играл, но, полагаю, не определяющую, как мне тогда казалось. Я потом заходил в свою бывшую роту и видел там ребят той же национальности, здесь оставшихся.

В моей национальности у командования с самого начала сомнений не было, что не помешало нашему замполиту выдвинуть меня в бюро ротной комсомольской организации и даже сделать одним из двух заместителей председателя.

Думаю, что сыграло роль мое отсутствие в тот момент, когда составлялись списки на перевод в солдатские роты. А я был в это время как раз в санчасти со своей обмороженной пяткой. Это уже второй раз, что я оказывался в лазарете. Первый раз меня отправили туда на несколько дней после того, как потерял голос. Только сипел и даже не мог ответить

«Я!» на вечерней поверке. Очевидно, слишком усердно кричал «Ура!» на морозе. Голос вернулся. А командир роты страшно не любил, когда его подчиненные оказывались в санчасти.

«Надо сказать, что служить здесь значительно легче, спо

койнее, больше свободного времени. Правда, легкость службы меня не очень трогает. Я уже привык к курсантскому темпу. Здесь уже нет той определенной цели, к которой стремишься, — сержантского звания. Теперь у меня одна цель—отслужить и вернуться к вам, дорогие. Так и будет... Я не унываю и вам не советую огорчаться. „Все к лучшему..."».

На самом деле мой персонаж был очень огорчен и, можно сказать, оскорблен. Он не мог предвидеть, что сержантские лычки в конце концов получит, в другое время и в другом полку, и что достигнет максимального статуса, который доступен срочнику, не считая должности ротного старшины, — будет исполнять обязанности помкомвзвода. Очевидно, в глубине души я все же не смирился с происшедшим.

В новой роте вместо легкого компактного СКС, к которому привык, из которого стрелял и который наловчился разбирать и собирать, я получил громоздкий и довольно тяжелый РПД, с двумя дисками в придачу. Разумеется, кроме того, которым уже был оснащен пулемет. Бегать с ним на стрельбище оказалось куда хлопотнее. Пулемет можно было носить на ремне, на левом плече, как карабин или автомат, а можно было класть на правое плечо, придерживая правой рукой за шейку приклада. Но и то и другое положение имело свои неудобства. Несешь на ремне — широкий приклад длинного пулемета бьет по ноге, бежать невозможно. Несешь на плече — при длительном движении сильно наминает плечо. У меня потом даже стихи были: «Я носил пулемет на правом плече, и он давил мне плечо...»

Распорядок в новой роте был, собственно, тот же, что и в учебной. Тот же подъем, тот же бег, та же строевая, та же тактика... Но не было того постоянного напряжения, которым отличалась атмосфера полковой школы и к которой я уже начал привыкать.

У сержантов не было ощущения своей миссии, характерного для сержантов учебной роты. Они были спокойнее и расслабленнее.

И вообще быт моей новой роты начал восприниматься именно как опыт — в том числе с анекдотическими происшествиями. Даже если бы что-либо подобное случилось в учебной роте, я вряд ли стал бы писать об этом. Никакие

нелепые происшествия не укладывались в психологический контекст. Все было предельно серьезно по сути.

В стрелковой роте кроме службы оставалось место для жизни. Надеюсь, читатель поймет, что я хочу сказать.

25.11.1955. «Вчера взвод был в суточном наряде по кухне. Накормить полк вещь непростая. Мне и еще пятерым выпала честь топить печи, числом восемнадцать. *(Надо иметь в виду, что топки выходили на улицу, на мороз.*—Я. Г.) За эти сутки перепилил и перетаскал столько дров, что их бы хватило нашим трем печам на год. *(В нашем доме в центре Ленинграда еще не было центрального отопления.*—Я. Г.) Вообще наряд считается самым трудным».

Надо, однако, добавить, что утомительность бессонного суточного кухонного наряда отчасти компенсировалась одним занятным обстоятельством. Я уже писал, что у нас, в отличие от частей, состоявших на обычном довольствии, компот давали каждый день в обед, а не только по выходным. Компот готовился исключительно из китайского изюма. И в особенности кухонного наряда, естественно, входила и чистка котлов после ужина и перед сдачей дежурства другому наряду. Но стенки котлов, в которых готовили компот, были покрыты толстым слоем приставшего к ним изюма. И, соскребая этот очень вкусный изюм, мы наедались им до отвала…

В том же письме: «Вернулись в казармы усталые, сонные — сутки не спали. Поужинали и спать. А ночью нашему помкомвзвода сержанту Сугакову приснилось, что звонит ему (в казарме есть телефон) комвзвода, старший лейтенант *Г*авриш, и говорит, что меня, мол, избил сержант Шабардин и ты приходи немедленно ко мне. Шабардин — мой командир отделения, очень милый парень, меньше всего склонный избивать своих прямых начальников. Ну, получив приказ, Сугаков решил, что надо его выполнять. Сел на койке и в полубессознательном состоянии стал одеваться, чтобы идти к избитому комвзвода. Когда он стал натягивать сапоги, в его полузаторможенном мозгу родились кое-какие подозрения в правильности своих действий. Проходящий мимо дневальный, увидев сидящего на койке полуодетого и полуспящего сержанта с сапогом в руке, удивился и спросил: „ Что с вами, товарищ сержант?" Тут сержант окончательно проснулся, плюнул, разделся и лег спать дальше».

Наутро Сугаков во всеуслышание рассказывал эту историю Шабардину.

«Появились новости. Наш взвод будет строить штаб первого батальона. За превышение нормы будут платить. Можно

заработать 100-200 руб. в месяц. Жаль, что я не имею строительной специальности. Жаль. Придется учиться».

Поразительно не то, что солдат образцовой строевой части использовали в качестве строителей, а то, что делалось это на хозрасчетной основе. Стрелок-наводчик ручного пулемета, поработав в собственной части плотником, мог еще и денег заработать.

Своеобразно жила наша Советская армия…

И если в в/ч 01106 подобное использование солдат — в том числе курсантов — было все же исключением, то в новом полку, в котором я вскоре оказался, это было нормой…

Никакого штаба нам строить не пришлось, и ничего мы не заработали. Мы продолжали служить по обычному распорядку, за исключением тех случаев, когда надо было срочно выгрузить уголь, кирпич или бревна.

10.11.1955. «А вид у меня сейчас боевой. Я как пулеметчик, весь в ремнях. Перекрещивающиеся ремни от подсумков с дисками, поясной ремень, ремень от оружия, лямка противогаза. Но сняться в таком снаряжении мне, конечно, никто не позволит».

В письмах этого периода гораздо меньше литературы и больше быта.

«Служим по-прежнему. Живы, отменно здоровы. Прекрасный аппетит. Кормят как на убой. Много, жирно. Теперь колют свиней *(Непонятный факт — в полку определенно не было своего свинарника.*—Я. Г.), и в каше довольно густо плавают куски сала и мяса. В основном сала. На что, на что, а на питание жаловаться не приходится».

Правда, через два дня после письма от 21 января появился один из последних пассажей литературного типа: «А знаете, о ком можно написать чудесный исторический роман: о Леонардо да Винчи. Интереснейшая фигура, интереснейшая биография. Очень занятная эпоха в истории Италии—роскошные княжеские дворы, феодальные войны, Ватикан, иезуиты. Отношения Винчи с Микеланджело.

А еще Данте. Судьба, достойная внимания».

Выглядят эти мечтания стрелка-наводчика ручного пулемета довольно забавно. Но в оправдание его хочу сказать, что уже в куда более зрелом возрасте, будучи автором нескольких книг по русской истории, я писал роман как раз из эпохи Данте — историю мятежа великого ересиарха Дольчино, адепта Пятого Евангелия, решившего установить Царство Божие на земле мечами своих последователей. И даже опубликовал большие фрагменты. И

надеюсь — Бог даст! — роман этот дописать.

4.11.1955. «Я хуже всего знаю живопись. Я начал заниматься ее историей перед самым отъездом. Но узнал много занятного. В Публ. библиотеке есть много прекрасных, богато иллюстрированных книг по этому вопросу. Старые издания, толстые, большого формата, с прекрасными репродукциями. *(Отец выхлопотал мне временный пропуск в Публичную библиотеку, и я усердно посещал отдел эстампов.*—Я. Г.) Знаете ли вы, например, биографию и работы Гойи? Жизнь его так и просится под перо. Хорошее перо, разумеется».

А перед этим: «Сам я думаю здесь заняться боксом».

Вообще тон писем менялся. Уже не было разговоров о сентиментальности. Ученик Джека Лондона перестал жалеть себя и был готов к новым авантюрам.

15.11.1955. «С недавнего времени в моей стриженой голове бродят планы сокращения срока службы почти вдвое. И не тем способом, что раньше. Не через офицерский чин. Дело в том, что в таких местах, как Чукотка и остров Врангеля, один год службы считается за два... Т. е. служат там вдвое меньше. Правда, служить там тяжело, но разве я не ученик Джека Лондона? Я уже собрался чуть не рапорт подавать, но произошло нечто, что заставило меня повременить. Из наших стрелковых, не учебных батальонов отправляют с недавнего времени ребят в разные стороны, часть — насколько нам известно, а известно нам, по совести говоря, крайне мало — на Запад. Так что есть какая-то надежда попасть ближе к дому. Если надежда эта отпадет, постараюсь угодить на Чукотку. По всему этому ни переводов, ни посылок не нужно».

В/ч 01106 — отдельный учебный стрелковый полк — был образцовой строевой частью. Тем не менее и учебные, и стрелковые роты использовались как даровая рабочая сила.

23.11.1955. «Сегодня праздник—День Советской армии... Был парад. На плацу промаршировали перед полковником... Недавно мы довольно экстравагантно провели ночь с субботы на воскресенье. После ужина, часов в десять нас построили и повели на станцию—разгружать вагоны с кирпичом. Когда мы прибыли туда, то выяснилось, что кирпич прибудет на разгрузочную площадку только к двум часам ночи. Пошли обратно. А от станции до городка несколько километров. Пришли — и спать. Минут 20-30 полежали—«Подъем!» Оказывается, кирпич уже на месте. Пошли снова и разгружали этот богом проклятый кирпич всю ночь до 8 утра. Замерзли, конечно, как мильон собак. Зато в Ленинграде я никогда уж мерзнуть не буду. Закалка».

И это оказалось чистой правдой...

«Вообще февраль напоследок дает себя знать: ветры чертовские. Они особенно мешают, когда идем в лес, на сопки. Ветер несет мелкий сырой снег. Идешь зажмурившись, а когда хочешь открыть глаза, то оказывается, что ресницы смерзлись. Приходится отогревать их руками... На ровных местах ветер бьет крепко, шатает, но идти можно. Но на обледенелых скользких склонах сопок он заставляет плясать, прыгать, а иногда и кувыркаться.

Но дни стали длиннее, солнце греет—зиме приходит конец... Скоро весна. Она близко. Скоро пойдут дожди и настанет время грязи, непролазной и непроходимой. *(Мы застали эту грязь в начале ноября, до первых морозов.*—Я. Г.) Но, может быть, меня к этому времени здесь уже не будет. Время идет. Проходит, и скоро я буду дома. „Я много лет без отпуска служил в чужом краю. И вот иду, как в юности, я улицей знакомою..." Когда я вернусь, юности уже не будет. Она пройдет. Вернее, она уже прошла. Пять месяцев сократили ее на пять лет... Большое спасибо за книги. Читаю их и немного Аристотеля».

Что до книг, то, насколько я помню, среди них был «Батый» Яна, которого я хотел перечитать. Относительно Аристотеля я писал в письме от 15 февраля: *«Борис* (Иовлев.—*Я. Г.) прислал мне бандеролью—что бы вы думали?—„ Аристотеля... Аристотелю я рад. Хотя изумительно головоломная штука—гегелевская логики",*

которую Ленин называл „средством для головной боли", легкое чтение по сравнению с этой вещью,—но я буду ею понемногу заниматься. А то можно совсем разучиться за три года читать трудные книги».

В Гегеля я в свое время пытался сунуть нос, но быстро понял, что это не моего умственного уровня чтение. Так что пассаж относительно «легкого чтения» — безобразное хвастовство. С Аристотелем я тоже не справился. Стагирита вообще постигла печальная судьба.

Некоторых моих сослуживцев книги, которые я читал, интересовали. Большим успехом пользовался Брандес — «Гейне и Берне», по довольно своеобразной причине. Он щедро цитировал лирические стихи Гейне, и ребята старательно их переписывали, чтобы использовать в письмах своим девушкам. Аристотель мог вызвать только недоумение. И однажды во время моего отсутствия, — не помню уж, куда меня послали (разумеется, в пределах расположения полка), — кто-то выдрал из «Аналитик» первые страницы. Это не было какой-то каверзой по отношению ко мне. Просто человек решил, что читать подобную абракадабру

совершенно бессмысленно, а бумага для цигарок нужна. Махорку — «Моршанскую» — нам выдавали, а бумагу — нет. Я попытался провести следствие, но никто так и не признался.

И Брандес, и Аристотель каким-то образом потерялись во время моих последующих странствий. Домой я привез совсем другие книги — томик Багрицкого и «Персидские письма» Монтескье.

А «Батыя» у меня взял почитать некто Тришин, по гражданской профессии мелкий воришка. Книгу он, как я понял, вовсе не читал, а продал кому-то в другую роту. Когда я назвал его вором, он почему-то обиделся и попытался меня душить. Но парень он был хилый, и я скрутил его без большого труда. Был Тришин не только прохвост, но и принципиальный симулянт. Помню, как намучился с ним командир второго взвода нашей роты Стась Луцкий, мой приятель. Я был в первом взводе. Но все это происходило в других местах и в другом полку…

Отвлекаясь от сюжета, скажу, что нечастая, но особая переписка была у меня с моим младшим братом. Разница между нами — пять лет, и, соответственно, он был еще школьником. Он писал мне время от времени забавные письма.

23.11.1955. «Спасибо, Михаил, что вспомнил обо мне, наконец. Правда, письмо твое довольно загадочно. Почему это я оказался сыном Чингисхана и притом любимым? У этого почтенного джентльмена было четверо сыновей, но ни один из них не назывался Яков. Или наш папа переменил фамилию?» *Однако мой братец, сам того не ожидая, оказался пророком. Сыном Чингисхана я не стал, но через пару месяцев полк, в который меня перевели, оказался на родине Чингисхана… Об этом речь впереди.*

Я же в своих письмах брату преимущественно уговаривал его не манкировать занятиями физкультурой. В отличие от меня, у него не было ни малейшей тяги к физическим упражнениям. Зато, опять-таки в отличие от меня, он прекрасно учился и окончил школу с золотой медалью. Но тогда это было еще не очевидно, и я с ужасом представлял себе, что с ним будет, если он угодит в армию…

Между тем предчувствие скорой разлуки с Ванинским портом оправдывалось.

6.111.1955. «У меня все как нельзя лучше. Как говорится в одной здешней песенке: „Я живу у Охотского моря, где кончается Дальний Восток. Я живу без нужды и без горя. Строю новый

стране городок". Все бы ничего, да по вам, други, соскучился. А остальное все верно. Живу без особой нужды, строю стране городок. Военный». *Насчет строительства городка — это для красного словца. Хотя какие-то разговоры об участии в строительстве офицерских домиков и были, но на самом деле между обычными занятиями — строевой, тактикой и т.д. — нас использовали исключительно на неквалифицированных работах — разгрузка, погрузка. Как я и рассказывал.*

Однако главное в этом письме совсем другое.

«Ну, вас, наверно, интересуют мои дорожные перспективы. Через пару дней уезжает первая группа — больше половины роты. Я отправлюсь через пару дней после них. Куда они едут, неизвестно, по слухам — далеко. Так называемые „покупатели", которые за ними приехали, петлицы имеют черные, следовательно, инженерные войска. В эту группу собрали всяких столяров, плотников. Наверно, едут в стройбат — строительные части. *(Слава богу, у меня не было строительной специальности, но было три месяца полковой школы, что, очевидно, играло роль, поэтому меня ждала строевая часть, хотя и весьма своеобразная.* —Я. Г.) Только что, дописывая предыдущие предложения, услыхал я, что поедут они в валенках, возьмут с собой, кроме шинелей, бушлаты и телогрейки. Их ждут, по-видимому, не особенно тепленькие места. Как бы им, сердечным, на Чукотку не угодить. Да. Я знаю одно — что я в ближайшие дни отсюда уеду. Чертовски интересно, куда... По совести говоря, Дальний Восток мне несколько приелся. Полгода — вполне достаточный срок для познания достоинств оного благодатного края. Вы мне, друзья, пока не пишите».

Скорость отъезда я несколько преуменьшил. На следующий день мне и еще нескольким ребятам из роты приказано было сдать оружие и собрать вещи.

Совгаванский период закончился.

Позади пять месяцев настоящей службы в образцовом полку, под командованием образцовых унтер-офицеров, службы, тон которой задавал образцовый отец-командир — гвардии полковник Хотемкин.

Я видел его несколько раз на построениях по торжественным дням, слушал его установочный доклад в клубе, но лицом к лицу встретился с ним только единожды.

Думаю, что это было воскресенье, потому что я шел один по расположению части. Скорее всего, в магазин, где можно было купить, скажем, пряников. И увидел, что навстречу мне величественно движется монументальная фигура комполка. Сердце, конечно, екнуло. Я перешел если не на строевой, то

во всяком случае на четкий шаг, и поскольку обходил его слева, отдал честь из положения «равнение направо». Он тоже козырнул, остановил меня и спросил, куда я иду. Я доложил, не отрывая ладони от виска. Он скомандовал: «Вольно!» — и спросил, нравится ли мне служить. «Так точно, товарищ гвардии полковник!» На этом разговор и закончился. Мне помнится, что полковник с высоты своего гренадерского роста смотрел на меня, изображавшего образцового строевика, несколько иронически. Хотя всю эту сцену я через шестьдесят лет вспоминаю довольно туманно. И, возможно, его ирония — это скорее мое представление о том, как он должен был на меня смотреть…

Как уже было рассказано, в то время я перечитал «Хаджи-Мурата», но сомневаюсь, чтобы эта встреча тогда срифмовалась у меня со сценой встречи императора Николая I с рослым и бравым студентом Школы правоведения, лихо приветствовавшим государя. «Хочешь в военную службу?» — спросил Николай, не сомневаясь в ответе. «Никак нет, ваше величество!» — столь же лихо ответил студент. «Дурак!» — сказал император и ушел, раздраженный…

Если бы гвардии полковник Хотемкин, для которого армия и была его жизнью, спросил меня тогда, хочу ли я стать профессиональным военным, вряд ли я решился бы ответить: «Никак нет, товарищ гвардии полковник!»

Гвардии полковника Хотемкина, конечно же, нет на этом свете. И, само собой, он никогда не узнал, как я ему благодарен и как часто его вспоминаю — особенно последние годы.

Тогда я мечтал вырваться из безукоризненно четкого мира в/ч 01106, этого воплощенного воинского устава. Но довольно скоро я понял, что это и было на самом деле то, к чему я стремился в своем побеге из привычного существования, — это было подлинное испытание. Отнюдь не для каждого из моих сослуживцев. Именно для меня. Эта служба имела мало общего с мучениями Смока Белью на Аляске и тем более с разговорами о сверхчеловеке. Садясь в эшелон, увозивший меня из Совгавани, я догадывался, что теперь меня вряд ли можно чем-нибудь напугать. И точно угадал. Это было подлинное испытание именно потому, что никак не соответствовало моим представлениям об испытании, никак не вырастало из тех книг, которые воспитывали меня и строили мои представления о мире.

Основная часть — хронологически — моей службы была еще впереди, но главное уже состоялось. Однорукий майор

мог быть доволен своим крестником…

Через два года после демобилизации я написал цикл стихов под названием «Ванинский порт». У меня нет сегодня ни малейших иллюзий относительно качества этих стихов, но в них схвачено состояние человека, внезапно оглянувшегося и оказавшегося внутри своего недавнего и столь важного для него прошлого. И потому я рискну их здесь частично воспроизвести.

Ванинский порт
Я помню тот Ванинский порт

И вид парохода угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт,

В холодные мрачные трюмы.

Песня политзэков сталинской эпохи

1
Я помню тот Ванинский порт,
Пакгауз ребристый и узкий.
И темень сочится из-под
Платформ, подлежащих разгрузке.

Фонарь в снегопаде — кротом.
Летят снеговые горошины.
Пакгауз и путь темнотой
И мокрым снежком огорожены.
И в этой промозглой норе
Лопаты скрежещут несыто.
Мерцают лучи фонарей
В россыпях антрацита.
Фонарный раствор по плечам
Стекает за пазухи людям.
Лопата —
Не тот ли рычаг,
Которым вселенную крутят?
Двадцать минут—
Перекур.
Ломоть хрустящего хлеба...
Земля,
Вся в грязи и снегу,
Уносится в черное небо.
И темень сочится из-под
Лопат,
Загребающих уголь...
Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый.
…….
3
Я помню тот Ванинский порт.
Ветром с пролива дробима,
Ночь начинала спор
С холодным штыком карабина.

Взвод —
Через день — на ремень{5}.
Жесть ледяного разгула.
В месяц зачтется мне Час
Этого караула.
Склад ГСМ.
Металл

Морозом до звона пропаян.
Тайга за оградой, и та Мечется, как слепая.
Склад до отказа врос В землю и в ночь.
Не первый
Впитывают мороз
Обмороженные цистерны.
И часовой один
На дне мировой пурги...
4
Я помню тот Ванинский порт.
Я помню дорогу к порту.
Утро
Стальной крупой
Сырого мороза пропорото.
Синий огромный клин
В небо вбит торопливо
Там, где плывет Сахалин
За Татарским проливом.
Мне многое нипочем.
Звонко шагает рота.
Давит мое плечо
Широкий ремень пулемета.
Направо — снега.
Налево — снега.
Впереди — пролив.
Позади —тайга.
Здесь кончается материк.
Здесь же и юность кончилась.
В белом холодном блеске зари
Небо застыло прочно.
Здесь кончается материк.
Здравствуй, Охотское море.
Здесь кончилась юность.
Вот карта.
Смотри.
Здесь началось другое.

К сожалению, в письмах нет точной даты нашего отъезда. По логике событий это должно было произойти не позже

8 марта. С дороги — из Комсомольска-на-Амуре — я дал домой телеграмму: «Едем Забайкалье».

Судя по штампу, телеграмма пришла в Ленинград 9 марта. От Совгавани до Комсомольска — несколько часов езды. По дороге к нам прицепляли еще вагоны с солдатами.

Первое письмо с нового — как оказалось, временного — места пребывания я отправил 18 марта. Думаю, что прибыли мы не позже 15-го.

18.III.1955: «Привет, дорогие! Простите за долгое молчание. Оно объясняется тем, что я в конце концов уехал из столь любезной сердцу моему С. Гавани. Вы, должно быть, получили мою телеграмму о том, что еду в Забайкалье. Это не совсем точно. Помните, в „Чингисхане" есть песня монголов: „Вспомним, вспомним реки монгольские—золотой Керулен, голубой Онон... "Так вот, я сейчас живу в двух километрах от „голубого Онона", на родине Чингисхана, в Бурят-Монголии, недалеко от границы с МНР. Вам, наверно, хочется знать, в каких частях. Извольте. Я в части, которая только формируется. Это будет инженерный полк, назначение которого—строительство аэродромов. В апреле выедем на место работ, ближе к границе, где будем строить крупный аэродром».

Тут требуется комментарий, так как информация, которой нас снабжали офицеры, оказалась впоследствии не совсем точной.

Во-первых, мы были не в Бурят-Монголии, а в Агинском бурятском автономном округе на юге Читинской области. Хотя до родных мест великого завоевателя и в самом деле было недалеко. Во-вторых, полк числился инженерно-саперным. Во всяком случае, когда формирование завершилось, то рота, в которую я попал, называлась ротой саперов-мостостроителей. Должен предупредить, что ни одного моста мы не построили. Равно как и аэродрома. Занимались совершенно другим. Но об этом позже.

«Ну что можно сказать о сих местах? курганы.

В лощинах—отары овец. Пастухи на конях. Я видел туземцев. В длинных голубых малахаях с острыми расписными капюшонами. На отворотах и рукавах белое руно. Из какой материи сделаны эти одеяния, не знаю. Лица плоские, смуглые. Мужчины с длинными редкими усами. Посмотришь—XIV век. Занятно. Климат не совсем курортный. Позавчера — теплынь,

солнце, лужи. Из тонкого слоя серого рыхлого снега торчат желтые стебли ковыля. Капель. Весна. Вчера с утра легкий ветерок, потом поземка, а к обеду буран. Я в первый раз видел настоящий снежный буран. Совгаваньские ветры холоднее, но по силе они здешним в подметки не годятся. Сегодня стихло немного, но вчера творилось нечто плохо вообразимое. Мы живем в долине между курганов, и то идти против ветра было совершенно невозможно, а представляете, что делалось на открытых местах. Ветер нес крупный, как дробь, твердый снег. Вот это погодка! Будет что вспомнить. Ну вот. Когда я дописывал предыдущие предложения, наш взвод построили и сообщили, что через час-другой мы едем на место работ. До станции будем пробиваться на машинах. На дорогах заносы, однако 18 км как-нибудь одолеем. Лопаты возьмем. А там — на пассажирский и на юг, к границе.

Насколько мне известно, там ровное место, так что имеем шансы пожить в палатках. Но вы не волнуйтесь, друзья, мне не привыкать, я не одну ночь спал в снегу, так что... Это все хорошо, прекрасно. Теперь я смогу читать „Северные рассказы" Лондона с пониманием и знанием дела... Вы пока не пишите. Когда все утрясется, я подам сигнал. Мой теперешний адрес: Читинская область, Цугуловский Дацан. В/ч 11225».

В Цугуловском Дацане, бурятском селении, очевидно, когда-то стояла воинская часть. От нее остались ветхие казармы с двухъярусными нарами. Хотя теперь мне пришло в голову, что скорее это не казармы, а бараки, и был это пересыльный лагерный пункт. Однако несколько дней мы в бараках вполне сносно жили. Мы — то есть наш взвод. Потому что нас отправили вперед, а недоформированный полк остался в Дацане.

В первый день пребывания в Дацане произошел нелепый инцидент, в результате которого я впервые за службу столкнулся с откровенным антисемитизмом.

В этот первый день во временном расположении части царили полный беспорядок и растерянность. Никто нами не командовал, по ротам и взводам мы еще не были распределены. Поскольку день был теплый, солнечный, мы просто болтались вокруг то ли казарм, то ли бараков. И нам — нескольким солдатам — пришло в голову, хорошо бы прогуляться и посмотреть — что же там, за этими унылыми сопками? Нас было человек десять. Пройдя с километр, мы вышли к каким-то домикам. Возможно, это и был Цугуловский Дацан. Во всяком случае, его окраина. Из одного дома вышла женщина и стала кричать на нас, требуя,

чтобы мы немедленно убирались. Очевидно, у местных жителей был не самый благополучный опыт общения с армией.

Мы пошли обратно. Ничего нового не увидели. Сопки и сопки. Но неожиданно нам навстречу попался запыхавшийся солдат и сообщил, что нас хватились, ищут, думают, что мы дезертировали. В панике мы бросились бежать в расположение части. Нас встретил мрачный майор — я видел его первый и последний раз, — построил и объяснил, что мы совершили тяжкий проступок — самовольную отлучку, и если бы он не видел нас бегом бегущих обратно, то наказание могло быть суровым. На том дело и кончилось.

До отъезда из Дацана нас распределили по ротам и взводам. Командиром нашего взвода назначен был старший лейтенант Ткачук, молодой и очень красивый парень с нежным девичьим румянцем. Как ни странно, прекрасно помню его лицо.

Он построил взвод — для знакомства. И, между прочим, сказал: «Я слышал, у нас самовольщики появились. В нашем взводе они есть?» Из самовольщиков во взводе я был единственным, но замешкался, не сразу сообразив, как мне себя обозначить — сказать, как на поверке, «Я!» или сделать шаг вперед… Кто-то указал на меня. «Та-ак, — сказал Ткачук, — нарушать мы умеем, а признаваться боимся. Выйти из строя! Кто по национальности?» — «Еврей». — «Та-а-а-ак, — сказал Ткачук, — тогда все понятно». Несколько человек засмеялись.

Это было первое и вполне неожиданное проявление офицерского антисемитизма. Ничего подобного в в/ч 01106 не было и в помине.

Впоследствии с этим приятным феноменом я столкнулся в армии дважды. Один раз в несколько анекдотическом виде, другой — в значительно более принципиальном, много позже.

Ткачука вскоре перевели в другой взвод, а нами стал командовать старший лейтенант Мелешко, которого национальный вопрос, судя по всему, совершенно не интересовал.

Прошло время, и моими друзьями стали молодые взводные командиры — оба украинцы: Стась Луцкий из Львова и Сережа Мороз из-под Винницы.

Их моя национальность ничуть не смущала, так же как и другого моего приятеля сержанта Толю Физера из Закарпатья…

Это все, однако, впереди.

В Цугуловском Дацане я пробыл недолго. Но там я понял, в какой части мне предстоит служить и насколько этот новый полк — в/ч 11225 — отличается от идеально строевой в/ч 01106.

Полк формировался на скорую руку. Поскольку стояла ранняя весна, новобранцев не было вообще. Личный состав собирали из разных воинских частей. По какому принципу их командование избавлялось от своих подчиненных, сказать трудно. Там были и откровенные отбросы — да простится мне эта резкость, — и толковые дельные солдаты. В национальном

отношении полк более всего напоминал Вавилонскую башню после Божьего гнева. Здесь были представлены все национальности СССР. Но имелась и одна важная особенность: значительный процент личного состава рекрутировался из уголовников, выпущенных по бериевской амнистии лета 1953 года и — если позволял возраст— подобранных военкоматами, главным образом по Сибири и Забайкалью. Это была своеобразная публика, о которой я еще буду писать. В Цугуловском Дацане, в ситуации хаоса и беспорядка, они попытались установить нечто вроде диктатуры, но ничего из этого не получилось.

Начиналось хрущевское сокращение армии, и офицерский состав в/ч 11225, отдельного инженерно-саперного полка, формировался из офицеров расформированных частей. Причем это были офицеры разных родов войск, которые до конца существования нашего экзотического полка не расставались со своими родными эмблемами и цветом погон и петлиц. Сержантский и рядовой состав при формировании в Дацане наделили черными погонами с голубой окантовкой и какими-то сложными эмблемами в петлицах, восстановить вид которых в памяти не могу. А офицеры — кто во что горазд. Так, последние месяцы службы моим ротным был чудный парень — старший лейтенант Давыдов, угодивший к нам из расформированного последнего кавалерийского полка, дислоцированного на монгольской границе. Он носил лихо надвинутую на одну бровь фуражку с синим околышем и перекрещенные сабли на погонах и петлицах. Но об офицерах разговор будет особый…

Там, в Цугуловском Дацане, за несколько дней образовалась сама собой небольшая дружеская группа — младший сержант Юра Рыбин, Лева Сизов, Леня Турчин и автор этого повествования. Рыбин был по службе старше нас

на полгода. В Селенгинске его ждали жена и маленькая дочь. Откуда его перевели — не помню.

Но Юра по профессии был техник-строитель, и его назначение в саперный полк было логично. Лева — рижанин — на гражданке играл на контрабасе, а в в/ч 01106 служил барабанщиком в музвзводе. Чем командованию не понравился его барабанный бой, не знаю. Леня, рослый, рыжий, с перебитым носом, был работягой из Новосибирска.

В хаосе формирующегося из столь разных элементов полка нас прибило друг к другу, и мы дружили до конца, и на дружбу эту нисколько не повлияло то обстоятельство, что наше служебное положение довольно быстро стало меняться.

Скорее всего, я пробыл в Дацане дней пять-шесть. По неясному принципу была сформирована группа, не совсем соответствующая по составу первоначальному взводу, и — во главе с тем же старшим лейтенантом Мелешко — отправлена вперед к месту будущей дислокации полка.

Задачу нашу никто нам не объяснял. Мы осознали ее чисто эмпирически, когда прибыли на место. Место это называлось — и называется — 77-й разъезд Читинской железной дороги. Это уже самый юг Забайкалья. Недалеко от этих мест сходились границы трех государств: СССР, Монголии и Китая.

Предположение, высказанное мной в письме из Дацана, вполне оправдалось. Полк выбрасывали в монгольскую полусухую степь. На абсолютно пустое место. Нам предстояло самим строить себе городок — от и до. На разъезд должны были прибыть стройматериалы и соответствующая техника. И мы должны были эти грузы принимать, разгружать и охранять.

25.III.1955. «Здравствуйте, дорогие! Наконец-то все утряслось маленько и я могу написать вам что-то определенное. Вы, конечно, получили мою телеграмму и авиаписьмо. *(Письмо из Цугуловского Дацана я сумел послать авиапочтой.*—Я. Г.) У меня все в порядке, только без писем, друзья, тоскливо. Страшно хочется поскорее получить от вас весточку. Мой теперешний адрес таков: Читинская обл., Оловяненский район. 77 разъезд. В/ч 11225.

Приехали мы на этот разъезд пять дней тому назад, несколько дней жили где придется и наконец водворились в землянке на аэродроме. Землянка неплохая, до нас здесь жили офицеры-геодезисты. Правда, тесновато. Землянка примерно 5 на 5, а живет в ней 47 человек. Зато на холод жаловаться не приходится. Это куда лучше, чем в палатке, особенно теперь.

Вчера у нас было -35, а сегодня и того покрепче. Вот вам и „степи монгольские"».

Следующий пассаж требует комментария. Даже двойного. С 1945 по 1949 год мы всей семьей проводили лето в Михайловском, в Пушкинском заповеднике, где отец работал замдиректора по научной части. Попал он туда характерным советским образом. Сразу после окончания войны его, участника обороны Ленинграда, вызвали в МГБ и приказали в 24 часа выехать из города. Другие крупные города для него тоже, разумеется, были закрыты. Он смолоду, с середины тридцатых годов, занимался пушкиноведением. Работая заведующим редакцией Ленинградского Учпедгиза (будущее «Просвещение»), время от времени возил в Михайловское экскурсионные группы. А в 1939 году у него вышла книга «Пушкин в Михайловском». Первая книга на эту тему в пушкинистике. По ней обучались молодые экскурсоводы. Пушкинский заповедник был подведомствен Институту русской литературы, то есть Пушкинскому Дому. И отец в растерянности пошел именно туда, посоветоваться с Борисом Викторовичем Томашевским, который его ценил. Борис Викторович сказал, что у него есть разумное предложение: в Пушкинском заповеднике вакантно место заместителя директора по научной части. Только что назначенный директор — Семен Степанович Гейченко — музейный работник, но никогда не имевший никакого отношения к Пушкину. И, естественно, научной стороной восстановления заповедника должен ведать специалист. А поскольку отцу не назначено определенного места жительства, лишь бы подальше от крупных городов, то Михайловское вполне подходит. Надо ли говорить, что отец согласился с радостью. Томашевский был одним из руководителей Пушкинского Дома, проблем с назначением не возникло… Кстати говоря, эта весьма щадящая ссылка спасла отца от куда более печальной участи. Во время «ленинградского дела» были арестованы и осуждены его сотрудники и друзья по Учпедгизу. И если бы он восстановился, как собирался, на своей прежней должности, то судьба его была бы ясна. А он был за 400 км от Ленинграда, и это его уберегло.

Причина высылки понятна — два его старших брата были арестованы в 1937 году. Один в это время строил Норильский комбинат, а другой, скорее всего, уже погиб.

В том же письме от 25 марта я писал своему младшему брату: «Знаешь, Михаил, здесь, говорят, летом есть всякие бабочки, если мне попадется на глаза что-нибудь ценное, я

обязательно изловлю и пришлю тебе».

В период нашего блаженного михайловского житья мы прочитали совершенно гипнотическую по своему воздействию книгу Сергея Тимофеевича Аксакова «Собирание бабочек». И соответственно, под непреодолимым ее влиянием мы с братом упоенно занялись ловлей и коллекционированием. А в послевоенном Михайловском с его нетронутой природой и отсутствием массовых посетителей существовал многообразный животный мир — относилось это и к бабочкам, как дневным, так и ночным. Коллекции наши в пятьдесят пятом году были еще в приличном состоянии, и, естественно, хотелось пополнить их чем-то экзотическим.

Я вспомнил о Михайловском не только из-за этого пассажа. Судя по письмам, в первые психологически тяжелые недели службы Михайловское возникало в моем сознании как образ утраченного рая.

Одно из писем этих первых недель — к сожалению, не датированное, а конверт не сохранился, — почти целиком состоит из разного рода поэтических реминисценций. В родительской библиотеке присутствовало великое издание «Русская поэзия XX века» Ежова и Шамурина{6}. Стрелок-карабинер, кроме перечисленной уже литературы, был неплохо знаком с поэзией Серебряного века. И ему было приятно наносить на бумагу стихи, которые он помнил наизусть. В частности, я воспроизвел — и неслучайно — стихотворение Федора Сологуба «На Ойле далекой и прекрасной». В письме я процитировал его целиком, а здесь приведу последние строки, чтобы суть была понятна.

Тихий берег синего Лигоя
Весь в цветах нездешней красоты,
Тихий берег синего Лигоя —
Вечный мир блаженства и покоя,
Вечный мир свершившейся мечты.

И в дополнение строки Гейне:

Там <…> прыгают, слушая чутко,
Газели, умны и легки.
И глухо шумят в отдаленьи

Священные волны реки.

Цитировалось все это с вполне определенным смыслом. «Если свести два эти стиха воедино, то получится описание недурного местечка. Хорошо. Прямо как в Михайловском. Хорошие воспоминания связаны с этим названием. Не так ли?

О, долина Ронсеваля,
Чуть твое услышу имя,
В сердце дрогнет, расцветая,
Незабудка голубая».

Это тоже Гейне. Голова стрелка-карабинера была, однако, довольно плотно набита стихотворными текстами. Позже, в другом полку и в другой ситуации, я читал своим друзьям стихи, о существовании которых они не подозревали.

27.XII.1954. «У нас два раза в неделю кино. Вчера, в воскресенье, — смотрел „Дети партизана". Картина на уровне, но что мне там понравилось, так это—лес. Много и хорошо показан не здешний, а наш западный настоящий лес. Как в Михайловском. Михайловское... Какие хорошие были времена! А еще лучше воспоминания. „Что пройдет, то будет мило“».

24.1.1955. «Знаете, последнее время мне снятся хорошие сны. Мне снилось, что я в Михайловском. Погулял по хорошему зеленому лесу. От портрета *(В сороковые годы над аркой при входе в Михайловский лес со стороны Бугрова висел огромный портрет Пушкина.—*Я. Г.) прошел к Маленцу, вдоль дороги там растут крепкие темноголовые маслята с пленкой на губке... Вы тоже были там и вместе ходили по лесу. Хороший сон, правда? После таких снов неприятно просыпаться при подъеме».

Михайловское я вспоминал не только в тяжелые совгаванские времена, но и позже — во времена куда более благоприятные — в Забайкалье.

20.IV.1955. «У меня все в норме. Здоров, сыт, одет. Скоро получим новое обмундирование. Давно ли в С. Гавани я получал первую пару! А уже скоро семь месяцев. Пятая часть службы позади. 14-го был юбилей—полгода. Прошло самое трудное время — первая зима. Быстро, правда? Что за погода в Питере? У нас тепло, жаворонки болтаются над степью, поют. Помните, мы шли как-то из Тригорского, а на столбике, недалеко от ямы, где

лежала когда-то пушка, сидел жаворонок и роскошно пел. Мы остановились и слушали. С нами был дядя Саша. *(Старший брат отца, которого ко времени моей службы уже не было в живых.—Я. Г.)*. Многое прошло с тех пор, и то время помнится очень хорошим, Пожалуй, оно и в самом деле было неплохим. Было?»

Будем считать это лирическим отступлением и вернемся в монгольскую степь...

25.111.1955. «Наша землянка в полусотне шагов от стоянки самолетов. Большинство—реактивные. Красивые машины! Мы, то есть наша группа, числимся как „дорожники", это пока, кем мы будем через неделю, одному богу известно. Пока что мы здесь одни—полк еще в Дацане. Занимаемся разгрузкой вагонов. Грузчики. Пока. Ну, работаем так: день работаем, два бездельничаем. Вагоны приходят не каждый день и понемногу. Вообще у нас здесь вольница. Главное начальство — лейтенант. Я —комсорг группы. Через пару месяцев, наверно, начнем работать серьезно... Итак, я из стрелков переквалифицировался в саперы. Ничего, устроились мы сравнительно неплохо, но „то ли дело, братцы, дома"... У нас есть патефон и два десятка пластинок. Разные солдатские и не солдатские песни. „Давно мы дома не были..."

...Ну, относительно климата. Вы, наверно, и сами знаете: резко континентальный, зимой до -50, летом до +40. Но морозы, например, здесь переносятся легче, чем в С. Гавани. Там при -35 мы совсем пропадали, а здесь — ничего».

Как я писал вначале — письма отнюдь не полностью покрывают мою армейскую жизнь. Она была многообразнее, ярче и жестче, чем я считал нужным рассказывать моим родным. А потому надо несколько отвлечься от эпистолярных источников и обратиться к памяти, письмами освеженной.

Жизнь наша с марта по май — в землянке — была весьма своеобразной. К сожалению, ни Юры Рыбина, ни Левы Сизова, ни Лени Турчина в этой авангардной группе не оказалось. Мы снова встретились, когда прибыл весь полк, и мы с Левой и Леней оказались в одной роте. А Юра благодаря своей профессии стал сравнительно большим начальником.

Состав группы — как помним, 47 человек, не считая старшего лейтенанта Мелешко, жившего отдельно, — был пестрым.

Спали мы на двухъярусных нарах. Надо отдать справедливость нашему командиру — он раздобыл у летчиков на весь состав полные спальные комплекты: матрасы, простыни, настоящие подушки.

Я выбрал себе место на верхних нарах. Слева от меня

расположился уже мною упомянутый ленинградец Гликин, справа сибиряк Кузнецов — коренастый деревенский паренек, веселый и довольно остроумный. Он подружился с худеньким, очень смуглым узбеком, постоянно над ним подтрунивал, но и опекал его.

Своеобразие нашему обществу придавала небольшая, но спаянная компания бывших уголовников. Человек пять-шесть. Они отнюдь не претендовали на особое положение, не проявляли ни малейшей агрессии, разве что смотрели на нас, фраеров, несколько свысока и жили вне рабочего процесса своей отдельной жизнью.

Самым авторитетным среди них был невысокий, кругломордый парень по кличке Голубчик. Это было его любимое обращение к окружающим, никто никогда не называл его по имени. Утренних и вечерних поверок у нас не было и, стало быть, не было и необходимости оглашать его фамилию. Так он и существовал — Голубчик и Голубчик.

Я помню еще двух персонажей из этой компании. Юра Мешко, свердловский вор. Почему я его запомнил, вскоре станет ясно. И Юра Воронов, если память мне не изменяет, то ли из Риги, то ли из Таллина. Он существенно отличался от своих товарищей. Юра был явно из интеллигентной семьи. Сел он студентом за хулиганство. Из его хвастливых рассказов можно было понять, что судили его за слишком активное ухаживание за незнакомой девушкой. В рассказах этих фигурировала бритва, которой он девушку пугал. Скорее всего, он сильно преувеличивал остроту ситуации, поскольку получил только два года. Но ему очень хотелось выглядеть своим рядом с Голубчиком и другими. Однако, когда он забывал о необходимости изображать бывалого зэка, с ним можно было нормально поговорить. Он оказался довольно начитан и совсем не глуп.

С Голубчиком связана анекдотическая история, характерная для быта нашей землянки. В один из первых дней этой новой нашей жизни он ухитрился напиться. Что, впрочем, было несложно — 77-й разъезд был для этого местом подходящим. В станционном магазине не переводился спирт — 96°. В темных пол-литровых бутылках по сорок рублей.

Эту сцену я запомнил со всеми подробностями, как ни странно.

Голубчик сидел на нарах в одном сапоге и ораторствовал. Совершенно некстати в землянку заглянул старший лейтенант Мелешко, тоже, судя по всему, несколько

навеселе. Все, кто был в землянке, естественно, встали. Голубчик не только продолжал сидеть, но и стал дерзить командиру. Между ними произошел стремительный и лексически колоритный диалог, воспроизводить который я не рискну. Закончился он привычной для таких ситуаций командой: «Сержанты! Взять его!» Но Мелешко, действуя по уставу, неверно оценил ситуацию. Единственный в наличии младший сержант Кейсель, тихий прибалт, топтался поодаль, не выражая желания применять силу к пьяному Голубчику. Тогда рослый Мелешко, будучи куда мощнее Голубчика, повалил того на нары и заткнул ему рот его собственной портянкой. После чего плюнул, выругался и вышел из землянки. На том дело и кончилось. Собственной гауптвахты у нас не было, а договариваться с авиаторами — слишком хлопотно.

Представить себе нечто подобное в в/ч 01106 невозможно было даже в кошмарном сне…

Надо прокомментировать мою «политическую должность». Как и в Совгавани, выдвижение мое на комсомольскую работу объяснялось только одним обстоятельством — законченным (хотя, как мы помним, с трудом!) средним образованием. Обязанности мои мне были совершенно не ясны.

И никто от меня как от комсорга ничего не требовал. Это была чистая формальность.

Вообще по сравнению с в/ч 01106 жизнь изменилась принципиально не только в отношении дисциплины и рода занятий. Физические нагрузки, как увидим, были не меньшие, но совершенно иного характера. В них не было той суровой и сковывающей системы, которой отличались они в полку гвардии полковника Хотемкина. Соответственно, иным было внутреннее состояние. Отсутствовало постоянное напряжение, о котором я в свое время писал. Это состояние безусловно имело смысл в части, личный состав которой настойчиво и неуклонно готовили к войне с «коварным, умным и сильным противником». О себе могу сказать, что именно благодаря этому внутреннему состоянию к концу пребывания в учебной роте я ощутил в себе готовность применять оружие по назначению. Вырабатывался особый солдатский инстинкт.

Ничего этого не было в в/ч 11225. Через некоторое время в моей солдатской книжке появилась запись — «сапер-мостостроитель». Но это, как и моя комсомольская должность, было не более чем формальностью. Позже, когда

мне пришлось иметь дело с полковыми документами, я встретил по отношению к нашему полку термин — «многоцелевой». И термин этот оказался более чем оправданным.

После первого моего письма с 77-го разъезда жизнь стала стремительно меняться. Вагоны с техникой, стройматериалами и продовольствием начали приходить регулярно. Нам отвели огромную огороженную территорию, где складировалось содержимое прибывающих вагонов и которую надо было тщательно охранять. Из тех же сорока семи человек надо было теперь выделять караул. Соответственно, в караул мы ходили по известной армейской поговорке «Через день на ремень». То есть постоянно.

Но настроение было какое-то легкое. Свой стрелковый учебный полк я вспоминал без малейшей ностальгии. Несколько позже, 9 мая 1955 года: «Мама, пишешь, что я стал жить похуже. Почему ты так думаешь и какое время имеешь в виду? Хуже, чем когда? Чем в С. Гавани? Ну, нет. Я бы не хотел вернуться в это богом проклятое место. Здесь мне совсем неплохо. Физической нагрузки я не боюсь, а в остальном...»

Меня уже мало что могло испугать. Но я еще не понимал, что обязан этим именно гвардии полковнику Хотемкину.

Дома не очень представляли себе характер моего существования и его бытовой контекст. Очевидно, в этом отношении мои частые письма были недостаточно информативны.

12.IV.1955. «Мама, ты спрашиваешь, не наблюдаются ли у нас особы женского пола. Я нахожусь в очень близких отношениях с тремя из них: киркой, кувалдой и лопатой. Очень милые дамы. Конечно, не без недостатков. Кирка и лопата довольно тупые особы. Но в этом грунт виноват. А кувалда тяжеловата на подъем».

Мой саркастический ответ был не совсем точен. Рядом с 77-м разъездом, как и во многих местах восточной части нашей родины, располагалось поселение особого типа. Такие поселения почему-то называли «шанхаями». Так вот, в нашем «Шанхае» были дамы вполне определенного разбора. Я помню одну из них. Встречал на разъезде. Звали ее Татаркой... Небольшая, с оплывшим от пьянства лицом, как мне тогда казалось, немолодая, она была дамой довольно популярной. Некоторые наши ребята посещали ее. Для успеха нужна была только бутылка. Мне подобное приключение в голову не приходило.

Значительно позже, став командиром отделения и

помкомвзвода, я начал вспоминать свой отдельный стрелковый полк с благодарностью за ту закалку и те навыки, которые я там получил. Но первое время в монгольской степи главным было чувство освобождения.

3.IV.1955. «Привет, дорогие! Вы, конечно, получили мое недописанное письмо. В тот день вечером я ушел в караул на сутки и докончить письмо не успел. Сегодня принимаюсь за дело. День был прекрасный, летний прямо. Сейчас 7 часов, скоро на ужин. Тепло. Я пишу, сидя на бревне у входа в землянку. Скоро закат. Я мог бы, пожалуй, испортив страничку, угостить вас описанием степного заката, когда небо на западе одевается в лиловое с золотом, неуклюже выползают темные тучи и зыбкими тяжелыми лапами давят курганы. Мог бы испортить еще страницу, описав восход, когда по крутым граненым склонам стоящих на горизонте гор струятся розовые потоки первых лучей, расцвечивая матовые снеговые пятна призрачными пляшущими алыми огнями. однако, не буду портить бумагу».

Простим саперу-мостостроителю эти наивные хитрости. Конечно, ему хотелось продемонстрировать свои литературные способности. Не скажу, что демонстрация оказалась удачной.

Далее: «Был в клубе летчиков на лекции „Роль личности и масс в истории". Вы знаете, что я этой темой интересовался, перед самым отъездом читал очень занятную книгу Карлейля о том же».

Кроме знаменитого трактата Карлейля «Герои и героическое в истории» я внимательно читал обнаруженную все в том же книжном шкафу очень живую книгу Н. Бельтова (Плеханова) «К вопросу о роли личности в истории».

«Лектор подполковник-летчик. *(Подозреваю, что это был политработник.*—Я. Г.). О-хо-хо. „Летчики-пилоты, бомбы-пулеметы, вот и улетели...“ Без хвастовства говорю—я бы лучше прочел. Спотыкался, бедняга, на каждом трудном слове. Никак не мог прочесть фамилию Карлейля. „Бился-бился, чуть совсем не надсадился" и прочел не то не то

„Кралей". Упомянул Сервантеса и пояснил солидно: „Сервантес — это английский писатель". Ладно, нехай так. Слово „фатализм" разъяснил: „Фатализм, товарищи, — это обожествление личности".

Конечно, фигурировал и „предшественник фашизма" бедный Ницше. Ну, хватит. Я здоров, западного пайка{7} мне вполне хватает. Процветаю. А вы как? Знаете, что мне пришло в голову. Очень интересно написать исторический роман о Гаруне-аль-Рашиде. Ведь на самом деле он был отнюдь не тем, как о нем

принято думать. Был жесток и вероломен... И однако, было же в нем нечто, раз он стал излюбленным героем столь феерически роскошного эпоса, как „Тысяча и одна ночь"».

Кстати, о пайке. По сравнению с густыми жирными совгаванскими борщами и обилием свинины в каше, не говоря уже о ежедневном компоте из изюма, «западный» паек выглядел довольно бледно. И получка была уже не 45, а 30 рублей. Надо помнить, что это было до хрущевской денежной реформы и зарплаты исчислялись не сотнями, а тысячами.

Максимальная — не персональная — пенсия равнялась 120 рублям. Понятно, что на 30 рублей было особо не разгуляться. Тем более что полковая финчасть была еще в Дацане и денег мы вообще не получали. А питались мы это время в аэродромной столовой. Не офицерской, разумеется, а вместе с аэродромной обслугой.

12.IV.1955. «У нас с самого начала апреля стояли солнечные теплые дни, снег весь стаял, а вчера с утра—тучи, снегопад и снова зима. Ну, сегодня потеплее, солнышко. Может, опять наступит весна... Живем мы потихоньку, работаем пока помаленьку. Часто ходим в караул. Но теперь в карауле стоять хорошо—тепло. Оказывается, пост — самое прекрасное место для самых разных размышлений и раздумий. Тихо, никто не мешает.

Я не читал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина,
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна...
Мне суждено блаженное наследство:
Чужих певцов блуждающие сны.
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны».

Строфы Мандельштама, как я понимаю, должны были передать характер моих размышлений на посту.

Пассажи относительно работы «помаленьку» и хождения в караул требуют комментариев.

Работали мы в это время отнюдь не помаленьку, что я сам вскоре и опроверг. Казармы и прочие здания будущего городка, который должен был располагаться в семи километрах от разъезда, как и говорилось, в голой степи, — предстояло собирать из готовых элементов. Соответственно, стали приходить платформы с разными балками,

стропилами, огромными щитами для стен. Все это после разгрузки надо было перетаскивать на склад — метров за триста-четыреста от железнодорожных путей.

Такелажного опыта у нас не было. Никакими приспособлениями мы не пользовались. Все перетаскивали на своих плечах.

22.IV.1955. «Работенка у нас действительно нелегкая. Последние дни переносили на плечах щиты килограммов по 200 весом. По 4 человека на щит, дневная норма 15 щитов. *(На четырех человек соответственно.—*Я. Г.) Т.е. 2-3 тонны. Ничего особенного, конечно, нет. Мы всегда управляемся до обеда, а после отдыхаем».

Разница в росте «носильщиков» и неровности почвы приводила к тому, что время от времени на кого-то ложилась огромная тяжесть. Длинные и тяжелые стропила по той же причине таскать приходилось вдвоем. Плечи они нам намяли основательно.

Очень противно было разгружать китайский — опять-таки! — цемент в пятидесятикилограммовых бумажных мешках. Дело было не в тяжести. Унести на спине удобный груз в полсотни килограммов особого труда не составляло. Но проклятый цемент как-то проникал сквозь три слоя плотной бумаги и висел этакой дымкой в воздухе. Этим приходилось дышать.

Куда приятнее было разгружать мешки с мукой, сахаром, крупами. С этими мешками — средний вес 70 кг — работать было куда легче, чем с балками и щитами.

Как мы доставляли этот провиант на склад, помню смутно. Как будто появились большие двухколесные тележки, на которые можно было уложить сразу несколько мешков…

Работа была разнообразная, не только разгрузка и таскание тяжестей.

8.IV.1955. «Сейчас строим разгрузочную площадку, для этого ломали и возили камень и долбили кирками мерзлую землю. *(Я еще не знал, что это вечная мерзлота, добравшаяся и до этих мест.* — Я. Г.) Камень ломать куда легче. Я не Геркулес, однако за один день сломал три кирки. Ручки, разумеется».

Для того чтобы сломать подержанную ручку кирки, не надо было быть Геркулесом. Надо было просто не уметь работать киркой. Если глубоко загнать острие кирки в мерзлоту и потом, пытаясь отломать пласт, работать ею как рычагом, испытывая ручку на излом, то сломать ее не фокус. Хотя подозреваю, что новоиспеченный сапер здесь несколько

преувеличил свои подвиги. Думаю, хватило бы и одной сломанной кирки. За массовую порчу инструмента ему бы намылили шею.

За камнем ездили довольно далеко — к виднеющимся на горизонте невысоким горам, сложенным из осадочных пород. Мы ломали желтый хрупкий известняк и увозили его на самосвале.

Когда началось строительство городка и понадобился бутовый камень для фундаментов в больших количествах, то в дело вступили настоящие саперы-взрывники. Тротил превращал известняк в щебень, и оставалось только грузить его на самосвалы…

Работа со взрывниками в каменоломнях производила сильное и совершенно особое впечатление. Работали с утра до вечера. И мне особенно запомнилась картина взрывов на фоне зловещего степного заката.

Через несколько лет, уже на гражданке, я попытался передать это инфернальное впечатление в стихах.

Мы рвали хрупкий желтый камень.
По изувеченной траве
Провел багровыми руками
Закат с проломом в голове…

Теперь весьма значительное место в нашей жизни занимало хождение в караул.

Мне несколько раз пришлось стоять в карауле и в в/ч 01106. Меня ставили на дальний пост—склад ГСМ. Это были декабрь- февраль. Самые крутые для тех мест морозы и самые режущие ветра с Охотского моря. Стоять там в окружении огромных вертикальных цистерн, от которых, казалось, шел еще и дополнительный холод, было не очень уютно. Правда, нам выдавались классические тулупы, которые советские дети видели на картинках в книжках о пограничниках. Мороз в таком тулупе был не страшен, но вставал вопрос: а как выполнять свой воинский долг в случае нападения, будучи погруженным в этот тяжелый и громоздкий футляр из овчины? К счастью, проверить это на практике у меня случая не было.

Но если при назначении в караул в в/ч 01106 нам внушали на обязательном инструктаже, что «коварный и сильный враг» не дремлет, — а мы знали, что рядом

традиционный противник, Япония, уставленная американскими базами, — и соответственно, все воспринимали всерьез, то в новых обстоятельствах отношение к несению службы было более, я бы сказал, легкомысленное.

Стоя у мрачных цистерн, я снимал с правой руки толстую и неудобную армейскую рукавицу и надевал домашнюю кожаную перчатку, чтобы в случае надобности можно было быстро сбросить большим пальцем предохранитель и положить указательный на спусковой крючок. (От мороза я прятал руку в рукав тулупа.) Таким образом, то, что говорилось на инструктаже, я воспринимал всерьез, понимая, что если взорвать всю эту массу горюче-смазочных материалов, то будет катастрофа…

В новой ситуации никаких мыслей о катастрофах не возникало — даже если со склада что-нибудь украдут, то это будет не более чем неприятность. Отсюда и полное отсутствие психологического утомления.

8.IV.1955. «В карауле, стоя на посту, я развлекаюсь тем, что романсы распеваю, стихи про себя читаю, и, знаете, на все восемь часов хватает и еще остается. Мишка, учи побольше стихов. Необязательно декадентов, Лермонтов, скажем, тоже подойдет».

Надо понимать, что восемь часов — это общий срок для часового. Стоят по два часа, потом четыре часа перерыв — два часа отдыхающая смена, два часа — бодрствующая. А затем снова на пост. Во время сильных морозов время на посту иногда сокращалось до одного часа.

А в конце марта — первой половине апреля в нашей монгольской степи по ночам морозы были достаточно свирепые. Правда, и здесь присутствовали тулупы, а кроме того, наши сослуживцы-уголовники научили нас, как противостоять морозу. Средство оказалось простое и доступное — чифирь. Пачка чая, купленная на разъезде в станционном магазине, на стандартную алюминиевую кружку. Классический зэковский напиток.

Но нам он нужен был не для галлюцинаций. Достаточно было нескольких хороших глотков, сердце начинало работать, как отбойный молоток, и мороз на некоторое время переставал ощущаться. Можно было стоять даже без тулупа — в шинели. (В караул ходили в шинелях, а не в повседневной форме — бушлатах.)

8.IV.1955. «Я сегодня в карауле свои восемь часов уже отстоял и теперь свободен. У нас тут был такой случай: один юноша из нашего взвода, будучи часовым, изловил другого юношу из того

же взвода, когда тот пытался расхитить государственную собственность. Первый отправился в отпуск, а второй на гауптвахту, под следствие. Я придумал такой способ получить отпуск: недалеко от склада, который мы охраняем, стоит сторожка, а в ней живет сторож находящегося поблизости магазина. Под утро он иногда вылезает взглянуть: ограбили магазин или еще нет. Так вот, я этого сторожа думаю застрелить, к складу подтащить и сказать потом, что он пытался залезть в оный склад.

Хитроумная затея, не правда ли?»

Когда я описывал историю с часовым и похитителем, я ее немного упростил.

Героя-часового звали Мурзалевым. Имени не помню. Высокий сибиряк, черноволосый и черноглазый, с крупными коричневыми веснушками вокруг переносицы. Очень красивый парень. А преступник — Абалуев, маленький, лихой, с чубом из-под шапки. (Ничего не придумываю — вижу их перед собой как живых.) Рядовой Абалуев решил спереть ведро олифы, продать на разъезде и купить, естественно, выпивки. Скорее всего, это был коллективный заговор. Олифа хранилась в больших бочках на территории склада. Как он бочку вскрыл и где взял ведро — не знаю. На свою беду, Абалуев попал в поле зрения часового Мурзалева, когда был уже у забора склада и готовился через него перелезть. Очевидно, пост Мурзалева был в этом секторе огромной складской территории. Мурзалев крикнул Абалуеву, чтобы тот остановился. Абалуев не обратил на это внимания. Опять-таки на его несчастье, эта часть складской территории примыкала к караульному помещению, откуда на крики Мурзалева выскочил начальник караула младший сержант Маринов. Сообразив, что Абалуев будет вот-вот вне пределов досягаемости, а Мурзалев в растерянности, Маринов выхватил у Мурзалева карабин и выстрелил в воздух — предупредительный выстрел, все по уставу караульной службы. Тут Абалуев испугался, остановился и был вместе с ведром олифы доставлен по начальству.

Маринов вскоре подлежал демобилизации, поощрения его уже мало интересовали. И он доложил, что стрелял рядовой Мурзалев. Рядового Мурзалева за бдительность и решительность — как я и писал в письме — отправили в отпуск. А рядового Абалуева, соответственно, под трибунал. Для острастки. Было понятно, что на разъезде покупатели на полковое имущество найдутся, и надо было показать пример строгости.

Но история имела нетривиальное продолжение, о чем я 8 апреля, естественно, не догадывался.

Мурзалев уехал в свою сибирскую деревню — и пропал. Как потом выяснилось, он загулял и о возвращении в часть и думать забыл.

На отпуск полагалось 10 дней. И на дорогу что-нибудь около того. Но когда прошел месяц, командование всерьез забеспокоилось. Полк уже целиком передислоцировался в район 77-го разъезда и жил в степи, в палатках. И через месяц-полтора замполит нашего батальона гвардии майор Мурзинцев с двумя автоматчиками — в таких случаях офицера сопровождали именно автоматчики — отправился по адресу Мурзалева и привез его в часть. Дня два он еще был на свободе. Я иногда заглядывал в палатку, где он возлежал, окруженный восторженными сослуживцами, и рассказывал о своих подвигах в родной деревне — пьянках, драках и любовных приключениях. Он расстегивал гимнастерку и демонстрировал застарелый огромный багровый кровоподтек посредине груди. Его двинул кастетом земляк, у которого он отбил девушку.

Его судили и отправили в дисбат. Полагаю, что они там встретились с Абалуевым.

Жизнь шла своим чередом. Караульная служба не только занимала в ней значительное место, но и давала некоторые дополнительные возможности.

19.IV.1955. «У нас снова весна, опять солнце, тепло, сухо. Недавно Пасха была. Я ее в воскресенье отметил. Мы как раз в карауле были, на станции. Сложились втроем: наш сержант — командир отделения, я и еще один солдатик, старослужащий. Набрали 25 рублей, купили полкило колбасы копченой и десятка два пирожков с мясом по 40 коп. и слопали эти пирожки с колбасой. Нажрались, как лошади. И то хлеб. Солдату нечасто приходится есть вволю».

Естественно, это не совгаванский паек…

26.IV.1955. «Итак, апрель ушел. Четыре дня осталось. Еще две недели, и будет семь месяцев с того дня, как „я оставил родимый дом, голубую покинул Русь".

Через четыре дня 1 мая. Еще раз с друзья.

С 1 по 2 мая я иду в караул. Ночка, должно быть, будет бурная. И в обычные вечера часто приходится быть свидетелем, а иногда, к сожалению, и участником разных милых историй: то танкисты, перепившись, бьют артиллеристов, то артиллеристы бьют танкистов, то и те и другие вместе взятые бьют авиаторов.

Правда, наш караул вмешивается только в том случае, если

ареной боя выбирается наша караулка».

Перечисленные роды войск взяты отнюдь не с потолка, картина была следующая. Если смотреть с севера на юг вдоль железной дороги — а она шла именно в этом направлении к монгольской границе, — то слева от рельсов дислоцировалась авиация, полк реактивных истребителей и полк тяжелых бомбардировщиков. Соответственно, аэродром. Пространство, не занятое аэродромом, являло собой пустую степь. Там, за аэродромом и авиагарнизоном, и предстояло обосноваться нашему полку. Справа от рельсов, за поселком разъезда, степь была исполосована танковыми гусеницами, и у меня создавалось впечатление, что за каждой сопкой — а в этом направлении степь холмистая — располагалась танковая часть. Гул танковых моторов был если не постоянным, то весьма частым фоном нашего существования.

При всей тогдашней дружбе с Китаем, очевидно, любимого соседа все же опасались. И, как вскоре выяснилось, не зря…

В том же письме я рассказал увлекательную историю.

«Я был в карауле, стоял у склада, с двух до четырех ночи, очень тихо и темно. Стоял, стоял и вдруг вижу, что из-за угла стоящего шагах в двадцати-тридцати сарая вылазит что-то темное и прямиком прется к складу. Очень темно, кто движется — не разберешь. Кричу: „Стой! Кто идет?!" Молчит и прется. А тут из-за того же угла лезет еще какая-то дрянь и тоже ко мне. „Стой! Стрелять буду!" Ни малейшего впечатления. По правде сказать, мне было несколько не по себе. Что тут делать? Передернул затвор и бах вверх. Гляжу, первый из нападающих останавливается и поворачивается боком. Не что иное, как корова с теленком. Они живут в сарае, и их, по-видимому, забыли на ночь запереть, а на полпути между складом и сараем лежит сено, и они вышли подкрепиться».

Ну, мое сугубо штатское семейство можно было развлекать подобными историями. Сколько-нибудь знакомый с армейским бытом человек презрительно пожал бы плечами. Это было совершенное вранье, типичная солдатская байка. Во-первых, пространство вокруг поста всегда хоть слабо, но освещено. Во-вторых, — и это главное, — если бы я и в самом деле выстрелил, то в действие мгновенно вступил бы устав караульной службы. Последовала бы команда: «Караул! В ружье!» Начальник караула поднял бы по тревоге обе смены — и бодрствующую и спящую, и с несколькими солдатами бросился к посту, где раздался выстрел, и если бы выяснилось, что часовой стрелял зря, последовало бы строгое

разбирательство.

Ничего этого, естественно, не было, поскольку не было и самого драматического происшествия. Хотя существовала своеобразная романтика караульной службы и разного рода легенды о нападениях на часовых. Одну такую историю, случившуюся якобы в Приморье, я слышал в в/ч 01106 от кого-то из старослужащих сержантов и на ее основе — уже в 1956 году, когда мы стояли под Иркутском — написал рассказ и послал его в «Огонек». Я сохранил черновик.

Рассказ сопровождала записка:

Уважаемая редакция! Случай, о котором говорится в данном рассказе, — быль. Это произошло в 1953 г. под Владивостоком.

Мне рассказывали об этом люди, служившие там.

Гордин Я. А.

Чтобы читатель представлял себе характер текста, приведу начало этого сочинения:

Склад стоял в лощине между двух сопок. Одна из них, приземистая, с плоской вершиной, сползая в долину неровными складками, несла на склоне узкую, хорошо утоптанную тропу. Тропа шла к складу.

Густое забайкальское небо — в тучах. Лохматые и грузные, они пришли с севера, поглотив один за другим электрически-синие огни звезд. Темные, в зыбкой бороде волнистых дождевых потоков, тучи шли над сопками, погружали долину в грязно-серый сырой сумрак.

У склада, вдоль колючей проволоки, ходит часовой. На склоне сопки возле спуска под фонарем еще один. По тропе к складу движутся строем несколько человек. Подошли к спуску, вспышка света, и, миновав первый пост, строй приближается к складу.

— Стой! Кто идет?

Низкий, почти грозный звук голоса странно гармонировал с суровой настороженностью тонущих в сумраке склонов, сумрачной тяжестью неба.

— Разводящий со сменой!

Насыщенный влагой плотный воздух глушит твердую четкость слов. Тем не менее они звучат резко, по-армейски.

— Разводящий ко мне, остальные на месте!

От строя отделяется человек, делает несколько шагов.

— Стой! Осветить лицо!

Луч ручного фонарика бьет в лицо разводящему, заставляя его щуриться. Часовой вскидывает за плечо автомат и машет рукой. Разводящий делает знак остальным и идет к посту. Смена.

После этой иллюстрации к уставу караульной службы автор, опираясь на собственный опыт, представил психологическое состояние человека на посту:

Строй ушел. Он остался один. На мгновение ему показалось, что бугристые склоны сопок, рассеченные крупной сетью дождя, ожили и подернулись зыбью, как вода под ветром. Он вздрогнул. Но тут же понял, что это действие колебаний дождевых струй.

Ганин служил второй год и не раз стоял на посту, но любой храбрец, охраняя в такую ночь важный объект, будет чувствовать себя не совсем спокойно... Но, став часовым, перерождается любой, даже самый нерадивый солдат.

А дальше шли разные страсти — нападение группы диверсантов на караульное помещение, гибель всего караула, кроме разводящего, вынужденное предательство разводящего, под дулом пистолета обманувшего первого часового, которого и убили. Но перед постом Ганина в нем заговорило чувство долга и совесть советского патриота, он подал Ганину соответствующий знак, и тот длинной очередью срубил и диверсантов, и разводящего...

Что это были за диверсанты, откуда они взялись в Забайкалье, где происходит действие, что они собирались сделать со складом?

Думаю, что не только эти вопросы смутили редакцию «Огонька».

Редакция ответила автору чрезвычайно лояльно. Что, мол, этот рассказ, к сожалению, им не подходит, но они рекомендуют автору продолжать писать, совершенствовать свое литературное мастерство и присылать новые произведения... Очевидно, сыграли свою роль обратный адрес и статус автора — солдат в/ч, дислоцированной где-то у черта на рогах.

Я привел этот забавный текст и вообще вспомнил эту историю по весьма существенной причине. И дело не в том, что еще полгода назад поклоннику экзотической для советского школьника философии, знавшему наизусть «Портрет Дориана Грея» и поэтов Серебряного века, не пришло бы в голову писать нечто на подобный сюжет, дело в том, как это было написано, с какой степенью серьезности.

В караульном помещении разводящий — этот трагический персонаж — читает статью о плавании Крузенштерна и размышляет вслух: «„Скоро ли везде будет советская власть и можно будет поездить по свету, поглядеть Гавайские острова,

Таити?" Начальник караула, старший лейтенант,

вспомнил шолоховского Макара Нагульнова, мечтавшего об установлении советской власти в Африке, и усмехнулся». И, чтобы вразумить разводящего с его мечтаниями о южных морях, читает ему стихи Николаса Гильена о страдающей Кубе.

Был в рассказе и пассаж, который автор, к его чести, решительно вычеркнул: «Ганин всегда помнил слова Мересьева, которыми тот отвечал на все сомнения в реальности его мечты: „Ведь я советский человек"». Вычеркнуть-то вычеркнул, но он был им написан.

В процессе вживания в новую реальность, в армейский быт, происходило и некое переформирование восприятия этой новой реальности. Она постепенно становилась своей.

Если для поэтизации ночных учений периода в/ч 01106 необходимо было немалое, так сказать, творческое напряжение, то теперь романтическая сторона быта воспринималась совершенно естественно и свободно.

31.III.1955. «Мы живем рядом с аэродромом. Самолеты в основном реактивные. Ходили смотреть машины. Какой-то летчик нам рассказывал, показывал. Красивые штуки. Вчера помогали расчищать беговые дорожки и заодно нагляделись на взлеты и посадки. Взлетающий самолет идет по земле на огромной непрерывно увеличивающейся скорости. Момент, когда он отрывается от земли, абсолютно незаметен. Поднимается очень плавно и полого. Очень интересно наблюдать ночные воздушные учения. Самолеты летают с тремя огнями: желтым, красным, синим. Мы часто ходим в караул. И вот стоишь ночью и любуешься, как среди обычных серебряных звезд пляшут, кувыркаются трехцветные созвездия!»

26.IV.1955. «Я каждый вечер любуюсь изумительным зрелищем: жгут степь, жгут прошлогоднюю траву, чтобы удобрить землю. Как только темнеет, горизонт покрывается пятнами огромных костров. Небо по самые тучи в багровом дыму. Знаете, футуристы были не так уж смешны, занимаясь словотворчеством. Слов действительно не хватает. Особенно для изображения красок. Какими словами можно передать цвет огня? Попробуйте описать огонь человеку, никогда его не видевшему. Невозможная вещь. Какой цвет вы назовете? Огненный? Красивая штука степной пожар».

Как говорилось, рассказ о нападении на караул написан был в 1956 году. Больше чем через год после нашего прибытия на 77-й разъезд. За этот год много чего произошло. И мне важно проследить процесс этого двоения сознания, который особенно проявится в последних письмах,

проследить ход эксперимента.

Для этого придется опереться на образцы рефлексии, которая началась в явном своем виде сразу по прибытии в монгольские степи, когда спало внутреннее напряжение.

27.III.1955. «Привет, друзья! Получили ли мое первое письмо отсюда? Все ли у вас в порядке? Как вообще здоровье? Что нового? Эх, скорее бы письма приходили! Сюда они должны приходить на несколько дней раньше, чем в Сов. *Га*вань. Будем ждать.

И я возник из бездны дикой,
И вот — цвету!
И созидаю мир великий,
Мою мечту!
И если в этом бренном теле
Так тесно мне,
Утешусь я в ином пределе,
В иной стране.

Цвести я цвету и созидать буду в скором времени, но, к сожалению, не свою мечту, а большущий капитальный аэродром. По-видимому, те два с лишним года, что мне осталось служить на благо родины, я буду трудиться на сем достойном поприще. *(К счастью, служба оказалась, как увидим, значительно разнообразнее и интереснее.*—Я. Г.) Хотя... кто знает, где солдат будет завтра. Одну из главных прелестей нашей жизни и составляет то, что не уверен в завтрашнем дне. Пока что разгружаем вагоны со стройматериалами.

Шесть месяцев прошло. Полгода. Много. Черт возьми, как много, как долго и как незаметно. Нет, нет. Совсем не то слово, отнюдь не незаметно. Очень заметно. Не только отметины, но и шрамы остались. Я видел столько... ну, скажем, всякой всячины! Изменился ли я? Об этом подробно мы поговорим при встрече. А в общем скажу: нет! Я развиваюсь в том же направлении, что и раньше. Я по-прежнему очень уважаю одного немецкого философа. Но прежде я только чувствовал его правоту, мне нечем было доказать ее самому себе, теперь я знаю, что он прав, прав и прав!

Эти полгода окончательно отучили меня от идеализма. Посмотрим, чему научат следующие два с половиной. Вот если бы мне удалось получить отпуск, мы бы побеседовали на сию тему, а пока довольно.

Итак, шести месяцев нет. Большой срок! Плохо верится, что есть на свете нормальные штатские люди, которые живут в Ленинграде, ходят в театры, Филармонию, Эрмитаж. Есть такие люди. А я таскаю ящики с гвоздями и бочки с краской. Тружусь!

Друзья! Недаром в юноше горит
Любовь к общественному благу!

...Кстати, друзья, не надумайте высылать что-нибудь, окромя писем. Наше почтовое положение очень неопределенное — сегодня один адрес, завтра — другой. Так что...

Да, хоть и отъехал я тысячи на три км на запад, а все же до дому далеко. Далеко.

„Мы гипербореи. Еще Геродот знал про нас: „Ни водою, ни сухим путем не найдешь ты дороги к гипербореям!" (Ницше. „Антихрист").

Вот так. Мы гипербореи, и письма к нам должны идти, даже авиапочтой, не меньше шесть дней. Пишите скорее и больше. Привет.

Яша.

Михаил, что читаешь? Читай, брат, как можно больше. Это очень нужно. Еще год, другой, и ты, пожалуй, за некоторые мои книги примешься».

Когда я начинал это сочинение, то главной задачей было описание культурно-психологического эксперимента, который поставил над собой юный выходец из книжного мира, не очень понимая, что он делает. Эта задача и остается главной. Но внутренний сюжет, естественно, развивался на фоне сюжета внешнего. И специфический быт в/ч 11225 необходим как материя, связывающая эти два сюжета.

29.IV.1955. «Привет, дорогие. Нет апреля. Послезавтра 1 мая. Изумительно быстро месяц прошел. Лето пролетит быстро. Получил ваше письмо от двадцать второго, что- то долго оно шло — пять дней. Обычно — три-четыре. Наверно, нелетная погода была... И десятка, и марки целы, но знаете, товарищи, я вам очень благодарен, однако впредь, пожалуйста, воздержитесь от десяток. Такая переписка чересчур накладная вещь. Если пришлете раз в месяц — спасибо (и то до времени), но больше—ни-ни. Очень скоро перейдем на хозрасчет».

С этим хозрасчетом я по сию пору не могу разобраться. Как мы помним, и в отдельном стрелковом полку — суперстроевом — нам сулили какие-то хозрасчетные блага за

строительство полкового клуба. Что крайне странно. За разгрузку и прочие такелажные работы нам не платили ни гроша. Почему-то на эту деятельность хозрасчетный принцип не распространялся. Но когда мы стали строить свой городок в степи и офицерские домики на разъезде, то действительно появились какие-то деньги. Позже, когда наш батальон отправили в тайгу на лесоповал, насколько я помню, хозрасчет исчез.

Впрочем, меня хозрасчет почти не коснулся. Мой достаток составлял 90 рублей, которые я получал последние полгода службы как помкомвзвода.

Ну, когда нас, называвшихся саперами, фактически использовали как стройбат, хозрасчетный принцип еще как-то понятен. А стрелковый полк?!

Интересно и своеобразно жила Советская армия.

Вернемся, однако, к быту.

29.IV.1955. «Не нужно обо мне волноваться, я занимаюсь работой отнюдь не непосильной, и здоровью моему она только впрок идет. Помните, когда у меня желтуха была, приходила врачиха-консультант из поликлиники. „Жареного не есть, жирного не есть, тяжестей не поднимать, то да се, ох да ах!" Я тогда просто перепугался—хорошенькие шуточки — инвалидом стал. Бог ты мой, сколько я с тех пор жирного съел (в С. Гавани нас последнее время на одной китайской свинине держали, ее было больше, чем каши, жирнющее мясо, сало), сколько всякой дряни на себе перетаскал, и хоть бы кольнуло где! Насчет телесной пищи тоже не беспокойтесь. Помимо пайка я еще и подкармливаюсь: хлеба покупаю, маргарин, масло. Когда ходим в караул, а ходим через день, то покупаем молоко. По пол-литра на брата. По 3 р. литр. Кроме того, здесь в киоске всегда бывают пончики, полтинник штука. С мясом. И длинными седыми бородами. Но съедобные. Вчера вечером, например, я ужинал так: слопал пол-литра молока и с полкило серого хлеба с маслом (по 26 с чем-то). Затем порцию тушеной капусты с черным хлебом *(Это уже армейский паек.—*Я. Г.) и запил все это чаем. (Мы в карауле со вчерашнего вечера.) Я уже привык здесь к аптекарским дозам и попросту объелся. Лег на лавку и помираю. Тут пришло известие, что открылся киоск с пончиками. Хо, я сразу, став голоден как волк, побежал, купил пяток и сожрал без всякого зазрения совести. Вот как».

И без всякого перехода — другой мотив. *«Библиотека на аэродроме есть. Но на дверях всегда висит замок с меня ростом. Не знаю, когда она открывается. Ночью, что ли. Но наше начальство достало нам несколько десятков книг.*

(Начальство, как помним, — старший лейтенант Мелешко. А несколько десятков книг на 47 человек — совсем неплохо.— *Я. Г.) Сейчас у меня с собой „Георгий Саакадзе"* (Сокращенный до одного тома вариант шеститомного романа Анны Антоновской «Великий Моурави», которым я, как помним, зачитывался

до армии. —Я. Г.), а в землянке, в вещмешке ждут „Философские повести" Вольтера. Новое издание.

Вот что. Если стану зарабатывать, то помимо всего прочего буду высылать Мишке энную сумму, а он будет покупать книги, всякие разные. Борис *(Мой школьный друг Боря Иовлев.*—Я. Г.) мне писал, что вышли новые издания Мора, Кампанеллы, Фурье. Их приобретет.

Я встретил в степи сурка. Желтый и толстомордый. Привет всем.

От меня, а не от сурка.

Целую. Яша».

Из приведенных писем легко можно сделать вывод, что ходить через день — точнее, через сутки — в караул было сплошным удовольствием. Это не совсем так. В частности, никогда так не хотелось спать, как на посту. То, что я, как уже писал, читал стихи и пел про себя, естественно, было не эстетическим самоублажением и даже не столько способом скоротать время, сколько — ночью — отогнать сон. На самом деле частое хождение в караул, когда ты два часа спишь, четыре бодрствуешь, потом снова два часа спишь и при этом каждые два часа из четырех стоишь на посту, что неизбежно требует некоторого нервного напряжения, — это довольно изнурительная жизнь. Как я уже писал, напряжение в карауле на 77-м разъезде было совсем не того уровня, что в Совгавани. И тем не менее... Тот, кому пришлось через это пройти, знает, что караульная служба отнюдь не самая легкая форма существования.

С караулом связана и первая из двух антисемитских ситуаций, о которых я обещал рассказать.

Я упоминал уже Юру Мешко, в доармейском прошлом свердловского вора. Так получилось, что мы всегда оказывались в одном составе караула. И Юра, осознав мою национальность, придумал себе развлечение — он во время бодрствующей смены стал рассказывать мне и присутствующим анекдоты: во-первых, банальные еврейские анекдоты, во-вторых, банальные антисемитские анекдоты. Разумеется, меня это раздражало. Причем Юра проделывал это с радостно-невинным видом. Он как будто просто

развлекал меня без всяких дурных намерений.

Было два выхода из этого идиотского положения. Первый — применить отработанный до автоматизма в полковой школе прием — «сбоку прикладом бей!» Попросту говоря, врезать ему плашмя прикладом по уху. Вооружены мы были, кстати сказать, не изящными четырехкилограммовками СКС, а старыми добрыми кавалерийскими карабинами — укороченными трехлинейками, оружием мощным и тяжелым. И подобная оплеуха была бы весьма чувствительна. Но я понимал, что драка с применением оружия в караульном помещении сулила в лучшем случае максимальный срок на гауптвахте, а в худшем — для поддержания далеко не идеальной дисциплины в полку — и трибунал с последующим штрафбатом. В любом случае — клеймо на всю оставшуюся службу. И я решил, что Юра Мешко того не стоит. И выбрал другой вариант — никак не реагировать на его забавы.

Закончился этот сюжет неожиданно и своеобразно.

Через некоторое время — мы еще жили в землянке — Воронов получил из дома посылку. И уголовная компания уютно устроилась в углу возле печки, сооруженной из большой железной бочки, и пировала. Думаю, что это было после возвращения из очередного караула, поскольку я сидел на нарах и читал. И вдруг Мешко громко, так, чтоб все слышали, произнес следующую тираду, которую я запомнил дословно: «Что было, то было. Но проще Яшки человека нет. Вот он комсорг, а ни во что не лезет. Точно скажу — проще Яшки человека нет! Яшка, иди к нам, поешь».

Положение было непростое. С одной стороны, мне вовсе не хотелось пировать в этой компании. С другой — Юра таким образом извинялся. Отказаться — означало обидеть не только его, это ладно, но и его сотрапезников. В том числе Юру Воронова, «хозяина стола», с которым у меня все же были полуприятельские отношения… Я подсел к ним. Что ели — не помню, врать не буду. Но в таких посылках обязательно были твердокопченая колбаса и какие-нибудь деликатесные консервы вроде шпрот.

Дружбы с Мешко у нас после этого не возникло, но его забавы прекратились и отношения стали ровными.

Что касается моей комсомольской должности, то у Юры были свои представления о том, как должен вести себя комсорг — представитель власти в некотором роде. Моя пассивность его удивила и подкупила.

А у меня не было ни возможности, ни желания как-то

проявлять себя в этом качестве. Позже я был выбран — по той же причине — комсоргом роты, но не провел ни одного собрания. Было совершенно не до того. И, к счастью, замполит батальона гвардии майор Мурзинцев никакой инициативы от меня не требовал. Это вообще был очень достойный человек. Я еще буду о нем писать. Единственное мероприятие, в котором мне пришлось принять участие, — обмен комсомольских билетов. Но тут уж деваться некуда.

Как я понимаю, Мешко никаким антисемитом не был. Просто он выбрал такой способ развлечься.

Надо сказать, что Юрины пассажи никакого видимого энтузиазма в караульном помещении не вызывали. А у некоторых проявлялось и неодобрение. С нами в караул часто ходил молчаливый паренек — желтоволосый, с яркими синими глазами и необычайно нежной кожей лица, которую не брал загар, и румянцем во всю щеку. Совершенно есенинский персонаж. После одного из Юриных выступлений он неожиданно негромко сказал в пространство: «А у нас в соседнем подъезде живет еврей — Герой Советского Союза...»

Когда мы в 1956 году стояли в районе станции Белая Иркутской области, то оказалось, что в нескольких километрах от нашего лагеря, в каком-то поселке живут его родственники. И я, тогда уже будучи его командиром, на свой страх и риск пару раз отпускал его на ночь к ним в гости, с тем чтобы к утреннему построению он был на месте. Если бы он не вернулся вовремя, у меня могли быть серьезные неприятности. Отпускать солдата в импровизированное увольнение мог, пожалуй, командир роты, но уж никак не помкомвзвода. Но парень меня не подвел.

Я писал маме совершенную правду. В Забайкалье мне служилось с самого начала куда легче, чем в Совгавани. Но, естественно, теперь надо было привыкать не только к новому роду занятий, но и к новой природе с ее особенностями.

2.V.1955. «На улице метель, снег, ветер. Утром шел „забайкальский дождь": ветер носил по воздуху тучи гравия. А теперь снег. Ну и май. Как вы провели праздник? Я здоров, все в порядке. Сегодня в карауле, охраняю гауптвахту. Веселый пост».

Из последней фразы следует, что мы охраняли не только свое полковое имущество. Нас использовали и для охраны других объектов, в/ч 11225 не принадлежавших. Поскольку вокруг 77-го разъезда стояло несколько воинских частей разных родов войск, то был и старший воинский начальник этого условного гарнизона, который, как я понимаю,

договорился с полковым командованием относительно расширения наших караульных обязанностей.

Сообщая родным об охране гауптвахты, я не подозревал, что через год и в совершенно другом месте — за много сотен километров—у меня будут куда более тесные и ответственные отношения с этим учреждением, чем просто охрана проштрафившихся солдатиков...

Письмо, начатое 2 мая, я продолжил на следующий день.

«Большое спасибо, друзья, за телеграмму *(Поздравление с праздником.*—Я. Г.), я получил ее 1-го. Какой день был в Ленинграде? Я имею в виду погоду. У нас и 1-е и 2-е были не особенно праздничными. 1-го ветер, по дорогам гуляли столбы пыли, вместе с пылью в воздухе летали мелкие камни.

Второго, часа в 2 повалил снег и шел до вечера. Сугробы в мае. Недурно. Сегодня, 3-го, тепло, снег тает, снова ручьи потекут. Ох, Забайкалье. У меня все по-старому. 1-е отметил, напившись молока с пряниками и сливовой повидлой. Тоже неплохо. В каше стало попадаться свиное сало. Читаю Вольтера. Между прочим, между его „Микромегасом" и „Садом Эпикура" Франса много общего. Умные были старики».

Этот непринужденный переход от свиного сала в каше к Вольтеру и Франсу симптоматичен. В совгаванский период культурные рассуждения выделялись в особые блоки, противостояли новому быту как истинная органичная реальность. Это была опора на «идеальное прошлое». Теперь же, когда чуждый быт постепенно становился своим, и культурные блоки входили в него естественно, становясь частью новой реальности.

19.V.1955. «Погода сегодня дикая. Вчера была жара, вообще в последние дни в тени доходило до 30°. сегодня страшный ветер, с дождем, холод. Ну, не дрянь ли? А как у вас? Сегодня мы отдыхаем. Ночью разгружали вагоны с мукой, горохом, картошкой и вермишелью. Полдня спали, на завтрак в столовую не ходили. При разгрузке прихватили не совсем легальным способом несколько брикетов горохового супа и утром сварили его и им напитались.

В газете попалась мне статья о Шиллере. Какой-то болван по фамилии Марков, а по профессии, наверно, литературовед, заканчивает так свой шедевр: „Он (то есть Шиллер) является верным другом и соратником строителей низма". Шиллер—коммунист. Он скорее ницшеанец. Возьмите любого его героя. Хотя бы Моора. Чем не ницшеанец? Вы скажете: борец за счастье, гуманизм, то да се. Но учтите, что лейтмотив энциклопедии ницшеанства, девиз Заратустры: „Заратустра любит

человечество!"

Завтра, друзья, я буду в карауле и напишу еще».

Это тот же вариант—непосредственно от горохового супа к Шиллеру и Ницше.

Жизнь, как говорится, налаживалась, но хотелось перемен.

31.V.1955. «У нас был набор на курсы шоферов. На мою докладную резолюция командования была: хороший,

подходящий, но отпускать нельзя, комсорг". Лестно, но малоутешительно. Я все же постараюсь на какие-нибудь курсы попасть».

Ни на какие курсы я не попал, но самостийно научился водить самосвал и изредка, подменяя шофера, водил его на небольшие расстояния по ровной степи, стараясь не переключать скорости.

Монгольская степь между тем дарила новыми впечатлениями, о чем я писал с удовольствием. Если климатические особенности на берегу Татарского пролива действовали угнетающе, то здесь они воспринимались как вызов, как испытание. Разговоры о Джеке Лондоне были и в письмах из Совгавани. Но там стрелок-карабинер скорее гипнотизировал себя. С Цугуловского Дацана появилось ощущение достойного противостояния. Это был не только географический, но и психологический рубеж.

15.V.1955. «Простите, что давно не писал, но эти дни были у нас весьма горячими. Во всех отношениях. Жара стоит зверская. 2-го снег лежал, а теперь уже с неделю дышать нечем. Днем. Ночью холодно. Непрерывный ветер. Прохладный с утра, он к полудню раскаляется, несет тучи пыли и окончательно лишает возможности дышать. Ну, ничего! Совгаваньские морозы перетерпели, а уж с монгольской жарой управимся как-нибудь. Сейчас еще весна, а летом будет потеплее. Ветер абсолютно невменяемый. Я начал это письмо на улице. Пишу, пишу, вдруг налетел настоящий ураган, пыль, какие-то щепки, камни. Меня чуть через забор не перекинуло. Скорее убежал под крышу <…> Степь зеленеет. Много коротеньких, толстеньких цветков, похожих на колокольчики без стебля. Пыль дикая, особенно на солончаках. Часто горит трава, недавно чуть наш палаточный лагерь не сгорел на наших глазах. Однако обошлось. Ветер вовремя

переменился. <…> Физиономия от ветра и солнца стала как дубленая. Только часть лба, закрытая пилоткой, остается светлой. Восьмой месяц служу! Эх, не было бы войны, и все будет прекрасно!»

Оговоримся — надо иметь в виду, что письма эти писал юноша с несомненными литературными наклонностями, воспринимавший окружающую действительность более остро, чем большинство его сослуживцев. Не говоря уже о том, что для своих писем он старался выбирать, с одной стороны, сюжеты, дающие представление о его жизни, но, с другой, усиливал эти сюжеты своим восприятием.

27.V.1955. «Привет, дорогие. Простите, пожалуйста, что реже стал писать. Это упрек справедливый. Но, видите ли, времени маловато, и потом мы два дня тому назад переехали в лагерь в палатку. В землянке, конечно, было уютнее. Здесь ветер чувствует себя значительно свободнее, чем мы. Ну, жить, однако, можно. <...> Погода у нас отвратная. Холодные ветры, 25-го выпал снег. Правда, он сразу же растаял, но где же это видано, чтобы 25 мая шел снег? Проклятое Забайкалье».

Это проклятье не надо принимать всерьез. В отличие от Совгавани, где мир был ограничен территорией расположения полка, окружающая тайга воспринималась исключительно как пространство ночных учений и тактических занятий, здесь мне все было интересно. Незнакомая природа при всех ее выходках существовала именно как природа.

Скоро степь зацвела, среди высокой травы появились степные лилии — саранки, и еще какие-то круглые, по форме напоминающие кувшинки, цветы глубокого красного цвета. К сожалению, вся эта роскошь довольно быстро выгорела под монгольским солнцем.

Степь оказалась густо населена. Возле своих нор стояли неподвижно тарбаганы, разновидность сурков, — жирные и важные. Они именно стояли, прижав к груди короткие передние лапы. А ночами на переднюю линейку лагеря, освещенную фонарями, выпрыгивали тушканчики, существа довольно фантастического вида — на длинных задних ногах и с длинными загнутыми к концу хвостами.

В караул и на работы нас возили на разъезд. Возили на студебекерах, которыми был укомплектован полковой автобат. Это были те самые мощные машины, которые в количестве 360 с лишним тысяч получила по ленд-лизу Красная армия от США. В пятидесятые годы они вовсю катали нас по Забайкалью. Собственно, автобат состоял из них и самосвалов.

27.V.1955. «Вчера разгружали двенадцатиметровые телеграфные столбы. Отвратительно толстые и тяжелые. Сегодня пока что бездельничаем в ожидании эшелона с грузом. <...> Я

здоров, как монгольская лошадь, так что вы не вздумайте беспокоиться, если иногда задержатся письма».

Следующее письмо я написал только через две недели.

10.VI.1955. «Привет, родные. Вчера получил от вас письмо. Принесли письма во время работы. Я бросил кирку, прочел ваше письмо, и работать стало куда веселее. Хорошо, что дома все в порядке. Продолжайте в том же духе. Волновались вы, друзья, напрасно. Как раз если бы со мной что- нибудь случилось, вам бы сразу сообщили. Но я ведь столько раз вам говорил и писал, что со мной никогда ничего плохого не случится. Для меня все в жизни идет по панглосовскому принципу. А что касается перебоев в переписке, то я ведь солдат, друзья. Например, я слышал, что скоро будут отправлять людей на север, в тайгу заготовлять лес. Может, и меня туда отправят, а там, возможно, кроме медведей, никто и не живет. Вот и пиши оттуда! *(Так, кстати говоря, и произошло. Но не скоро, а через полгода.*—Я. Г.) <...> Я сегодня опять в карауле. Неудачно попал, с воскресенья на понедельник. Воскресный вечер пропал. Вообще воскресенья не видели. С утра пришли четыре вагона щитов для стандартных домиков. *(Имеются в виду офицерские домики, которые собирались строить на разъезде.*—Я. Г.) Довольно громоздкие штуки, в среднем на 6 кв. м. Сырые к тому же, а следовательно, весьма почтенного веса. До обеда разгрузили, а в б часов мне уже в караул идти. И в кино не сходил. *(К нам в лагерь приезжал киномеханик, и фильмы смотрели под открытым небом.*—Я. Г.) В субботу ходил, смотрел „Испытание верности". Новая картина, мещанства хоть отбавляй. Моралите: „Не возлюби жены ближнего своего". Очень примитивно. В главной роли Ладынина. Знаете такую? Страшна как смертный грех, ничего удивительного, что муж бросил, я его вполне понимаю».

*16.*V*I.1955.* «Здравствуйте, дорогие. Простите, что пишу с перебоями.

В оправдание свое приведу распорядок дня: в б часов — подъем, в 7 — завтрак,

около восьми строимся на развод, в 8—на работу. С 2 до 3 обед. В б конец работы (официально), но освобождаемся окончательно в 7. Ужин. Вечерняя поверка. Отбой. На письмо, конечно, выгадать можно, сам теперь вижу. Буду писать чаще. Даю торжественную клятву».

Я почему-то пропустил физзарядку. А она была. Правда, не совгаванский бег, а традиционные упражнения. Но за этим ритуалом лично наблюдал командир полка подполковник Коротченко. Впрочем, вскоре он стал полковником.

Клятву я не сдержал, следующее письмо написал лишь

через десять дней.

Я стал писать реже не только потому, что не хватало времени. Для короткого письма время всегда можно было найти. Но в Совгавани, откуда я писал только что не ежедневно, это была отчаянная попытка сохранить связь с той недавней жизнью, что казалась тогда единственно моей. В монгольской степи все изменилось. Та, прошлая жизнь, при всей ее привлекательности постепенно уходила на второй план, а новая реальность приобретала органику. И появлялась полуосознанная мысль, что этот опыт мне еще пригодится. Соответственно, потребность связи с «идеальным прошлым» потеряла свою остроту. Я жил настоящим и трезво оценивал меру испытаний, на мою долю выпавших.

28.VI.1955. «Я прочел 1-й том „Домби и сына". , но Диккенс не кажется мне столь конфетным, как прежде. Приходится удивляться „как поумнел этот старый век". *(Отсылка к Марку Твену, который писал, что в юности отец казался ему совершенным глупцом, но с его собственным взрослением удивительно умнел.—*Я. Г.) Юрина мама *(Юра Романов, мой приятель, о котором я уже упоминал.—*Я. Г.), женщина, между прочим, очень неглупая, как-то сказала мне (разговор шел о Диккенсе, и я высказывал свою точку зрения), что понимание Диккенса надо выстрадать. Это, пожалуй, чересчур сильно, его можно понять, и не претерпевая тех бед, которые он обрушивал на бедные головы своих героев. Не скажу, чтобы мне приходилось особенно страдать, попросту говоря, ваш сын узнал, что такое холод, голод».

И дальше вполне неожиданный пассаж: «Не можете ли вы сунуть в посылку программу филфака университета и пару учебников по сей программе, если, разумеется, это не вызовет затруднений (я имею в виду в отношении истории литературы — литературу западную)? Я бы, пожалуй, мог понемногу заниматься. Сейчас это сложно, но попозже будет проще. Был бы очень и очень вам благодарен».

Что касается именно западной литературы, то это был не случайный акцент. Перед армией помимо прочего моими настольными книгами были две истории западноевропейской литературы — книга профессора П.С. Когана, которого так не любил Маяковский, и университетский курс Ф. П. Шиллера. Том Когана был еще и иллюстрирован портретами писателей. Там я впервые увидел шикарную фотографию Оскара Уайльда. При моем увлечении «Портретом Дориана Грея» это было важно.

Любопытно, пока я не перечитал несколько лет назад

свои армейские письма, я был уверен, что мысль о поступлении на филологический факультет появилась у меня уже после армии и спровоцировало ее писание стихов. Оказывается, намерение было фактически декларировано ровно за два года до того, как я сдал экзамены на филфак Ленинградского университета. Сдал настолько успешно, что не понадобилась армейская льгота. И теперь я испытываю некоторую неловкость, поскольку неоднократно в разных интервью вводил в заблуждение почтенную публику.

Я совсем было втянулся в разнообразный физический труд. А он был и в самом деле разнообразный, поскольку иногда возникали совершенно неожиданные ситуации.

20.IV.1955. «Недавно занимались которое так не

нравилось Айболиту: „Ох, трудная это работа: из болота тащить бегемота!" Тащили мы, правда, не бегемота, а студебекера, но разница невелика. Целую ночь тащили его по болотам до дороги. Вымокли, как черти».

Подобные подвиги нам пришлось совершать два или три раза.

Наша землянка стояла на краю невысокого плато, тянувшегося степью до отдаленных гор. На нем располагался и аэродром. А ниже — к северу — лежала обширная равнина. Весной, когда таял снег и шли обильные дожди, она превращалась в подобие гигантского болота. Часть полкового имущества перебрасывали из Дацана на студебекерах, которым приходилось эту равнину пересекать. И даже эти мощные машины иногда вязли и буксовали. Тогда — часто среди ночи — старший лейтенант Мелешко поднимал нас по тревоге, и мы отправлялись выручать транспорт. Делалось это просто — все, кто не был занят в карауле, то есть порядка тридцати человек, брались за длинный буксировочный трос и добавляли свои силы к тем лошадиным, которые работали в моторе студебекера. Машины застревали иногда в нескольких километрах от твердого грунта, и мы как бурлаки — по щиколотку, а то и глубже, в грязи и воде — волокли своего тяжело нагруженного «бегемота» несколько часов. Правда, в отличие от ночных тревог в в/ч 01106, нас в таких случаях не поднимали в положенное время, а давали выспаться.

Мокрую и грязную одежду мы расстилали на нарах под нашими тонкими тюфяками, и за несколько часов она более или менее высыхала.

0 строительстве мифического аэродрома, слухи о котором бродили в полку, речи уже не было. Равно как не

было речи о нашей штатной профессии — никто явно не собирался обучать нас искусству наведения мостов в боевых условиях. Нам предстояло, как уже говорилось, строить себе щитовые казармы, а также и все необходимое для военного городка — штаб, клуб, столовую и прочие служебные здания.

Полк — две с лишним тысячи нижних чинов, и соответствующе планировался масштаб строительства. Не говоря уже об офицерском коттеджном городке.

Чем мы будем заниматься потом, подозреваю, не знало и наше командование.

Хотя, надо отдать должное подполковнику Коротченко, он старался сделать все от него зависящее, чтобы полк выглядел как можно представительнее. В частности, мы еще не знали, успеем ли построить казармы до морозов, а он уже организовал полковой оркестр. К сожалению, оркестр располагался рядом с палатками нашего взвода и с его стороны постоянно доносилось всяческое дудение, завывание, хрипение, барабанный бой. Оркестранты репетировали целыми днями, и когда мы возвращались с работы, эта какофония сильно раздражала. Но зато впоследствии все перемещения подразделений полка — командировки, сколько-нибудь серьезные передислокации — сопровождал великий марш «Прощание славянки», что придавало этим событиям торжественность и значительность.

Через некоторое время в полку появилась и футбольная команда. Это были большие бездельники и любимцы комполка...

О своих грандиозных литературных планах я почти перестал писать. И это симптоматично. Уже не было острой потребности замещать реальность фантазиями. Этот мотив проскальзывал иногда по конкретным поводам. Например, мои родители всерьез восприняли придуманную мной наивную историю — происшествие на посту, и мама посоветовала мне подумать о рассказе на этот сюжет.

9.V.1955. «Увы, товарищи, рассказы о коровах, нападающих на часовых, не мое амплуа. Если я когда-нибудь буду писать, то юмористические рассказы в число моих произведений не войдут. Больше всего меня привлекает жанр исторического романа типа „Генриха IV" Манна».

Имелась в виду «Юность Генриха IV» Генриха Манна, роман, на мой вкус, необычайно умный и обаятельный, который я фрагментами знал наизусть и который и сейчас — через шестьдесят лет — считаю образцом исторической прозы наряду со «Смертью Вазир-Мухтара» Тынянова.

Кстати о числе, которым датировано это письмо. 9 мая в те времена не вызывало никаких ассоциаций. Мне в голову не приходило поздравить родных с Днем Победы. Этот день был властью зачеркнут и забыт. Никаких мероприятий, ему посвященных, в армии не было. Что уж говорить о гражданке…

В конце июня моя жизнь неожиданно изменилась. Изменил ее Юра Рыбин.

Как я говорил, мы с Юрой, Левой Сизовым и Леней Турчиным подружились в Цугуловском Дацане, а позже, когда полк собрался на месте дислокации и образовалась постоянная структура, мы оказались с Левой и Леней в одной роте, Лева стал ротным писарем, а Леня, как и я, работал киркой и лопатой. Юра, с его профессиональным опытом строителя, занял высокий пост старшего нормировщика батальона.

Разговоры о хозрасчете оказались правдой. Дело было не только в начислении заработков. При том размахе и серьезности работ, которые предстояли личному составу, необходимы были контроль и учет, отслеживание темпа строительства. Отсюда и появление должностей ротных и батальонных нормировщиков. Никого не радовала перспектива встретить здешнюю осень и тем более зиму в палатках. Времени для возведения казарм оставалось, таким образом, не больше трех месяцев. А специалистов, по моим воспоминаниям, было совсем немного.

Был капитан Кривошеин, замполитех нашего батальона, то есть заместитель командира батальона по технической части. Сапер-фронтовик. Я слышал его рассказ, как они во время войны наводили переправы. Был замполитех полка майор Гинзбург, поразивший меня тем, что ходил — единственный — в белоснежном кителе. Тоже фронтовик. Уж не помню, при каких обстоятельствах он мне рассказал, что жил в Ленинграде на Невском, 114. (Я сообщил об этом в одном из писем.) После войны его демобилизовали, а теперь призвали снова.

В штабе полка работали два молодых веселых лейтенанта, носивших почему-то голубые погоны и летные эмблемы. Оба они были инженеры-строители, получившие офицерские звания на военных кафедрах своих институтов. Почему на них была летная форма? Возможно, слухи о строительстве аэродрома имели под собой какое-то основание, полк формировали под эту конкретную задачу и этих лейтенантов призвали по военно-воздушному ведомству.

Вообще история странная. Зачем было наспех формировать строевой инженерно-саперный полк, нашпиговывать его боевыми офицерами, а затем использовать как стройбат?

Раз уж речь зашла об офицерах, то должен вспомнить кроме гвардии майора Мурзинцева, замполита батальона, который никак не соответствовал предвзятому мнению о политработниках, еще одного майора — начальника штаба нашего батальона гвардии майора Ширалиева. Крупный, я бы даже сказал — тучный, с абсолютно черными вьющимися волосами и столь же абсолютно черными выпуклыми глазами, Ширалиев производил впечатление грозное. Да он и был, когда требовалось, весьма суров. Во время войны он командовал ротой танкового десанта, и китель его украшали четыре ряда наградных планок… Меня заинтересовала одна из них — ярко- голубая. Ни у кого из других офицеров-фронтовиков я такой не видел. Позже, когда по обстоятельствам, о которых скоро пойдет речь, мне приходилось видеться с ним почти ежедневно, я как-то спросил его — как и положено, попросив разрешения обратиться, — что это за награда. «Чешская», — ответил он.

Ширалиев говорил, что он перс. Возможно.

Так вот, о перемене моей жизни.

26.VI.1955. «Мне, наверно, в ближайшие дни придется снова изменить профессию и стать ротным нормировщиком. Приступлю к своим обязанностям с 1 июля. Если работа будет по душе, буду работать, не будет—уйду».

Забегая вперед, могу сказать, что гвардии майор Ширалиев играл определяющую роль в моей служебной судьбе, а в конце концов едва не изменил мое жизненное направление весьма фундаментально…

Должность ротного нормировщика мне предложил Юра Рыбин. И не только по дружбе. Должность эту уже занимал ленинградец Глеб Менгден, о котором я писал в одном из писем — «хороший парень, но отчаянный болтун». Глеб тоже окончил десятилетку, успел поработать на заводе, почему не поступил в институт—не помню. Он с работой, как сказал Юра, не справился. А Юра как старший нормировщик батальона отвечал за ведение дел.

Для того чтобы выполнять эту работу, нужны были тщательность и усидчивость, которыми я в школе отнюдь не отличался. Но тут деваться было некуда. Мне очень не хотелось подвести Юру. В мои обязанности входил учет результатов работ, классификация их по нормативам и

подсчет процентов по отношению к плановому заданию. Потом мои рапорты шли в штаб батальона к Рыбину, а затем в полковую бухгалтерию, где получали финансовое оформление.

Личный состав роты не мог похвастаться строительной квалификацией. Было несколько профессиональных землекопов с Западной Украины, но теперь, после закладки фундаментов под казармы и офицерские домики, пошли куда более сложные работы. Ребята выполняли их медленно, и, соответственно, никакие заработки им не грозили.

Я довольно быстро научился обходить закон. Причем самым наглым образом. К счастью, никому за пределами батальона не приходило в голову проверять мою документацию. В противном случае могли быть серьезные неприятности не столько у меня — что возьмешь с солдата? — сколько у моего начальства, начиная с Рыбина. Но не мог же я допустить, чтобы ребята ничего не заработали.

На возведении щитовых стен казарм ничего выгадать было невозможно, но вот когда дело доходило до внутренней отделки, то я пускался на всякие хитрости. Например, если речь шла о простых линейных карнизах, то я, используя соответствующую статью нормативов, классифицировал их как фигурные. А это уже совсем другая стоимость работ…

Я писал, что хозрасчет обошел меня стороной. Но в более позднем письме обнаружил опровержение. Оказывается, перед самым переходом на новую должность я, работая на ночной погрузке песка и гравия на самосвалы, заработал к своей законной тридцатке еще 136 рублей прогрессивки, перевыполнив норму раза в полтора. Тут все было чисто. Надо было просто не тратить время на перекуры, — а я и не курил, получая вместо моршанской махорки сахар, — и ритмично работать совковой лопатой. По известному принципу: «Бери больше, кидай дальше». Но это был единственный случай.

Если в в/ч 01106 я приобрел прочные навыки по строевой подготовке и обращению с оружием, то в в/ч 11225 научился вполне профессионально работать лопатой, а потом и топором.

Мой командир отделения младший сержант Маринов, крепкий, приземистый, молчаливый, родом из Бессарабии, был на гражданке профессиональным землекопом. Мне нравилось смотреть, как легко и результативно он работает лопатой, ломом, киркой. Однажды я сказал ему, что не прочь после армии тоже стать землекопом. «Ну ты совсем дурак, —

сказал Маринов.—Ты затем десять классов кончал, чтобы землю копать?» Сам он окончил то ли три, то ли четыре класса, и десятилетка представлялась ему чуть ли не высшим образованием.

Однако в моем нелепом на первый взгляд намерении был некий смысл. Профессиональная работа лопатой была верным залогом внутреннего спокойствия и простоты существования. Недаром я по сию пору люблю физическую работу, и лопата с топором бывают мне милее пишущей машинки и компьютера…

9.VII.1955. «Здравствуйте, дорогие мои. Простите, бога ради, меня грешного. Я очень перед вами виноват—не писал долго. Оправдания мне нет. Подлец. Я здоров. Очень здоров. <…> Здоров как лошадь. Я на новом амплуа—ротный нормировщик. Вам, должно быть, известно, что это за профессия. Во всяком случае, не по мне. Не знаю, долго ли я просижу на этом месте, но пока сижу. По совести говоря — лопата куда спокойнее. Конечно, ко всем этим нарядам, рапортам, отчетам, ведомостям, процентам, человеко-дням надо привыкнуть, ничего мудреного здесь нет, но надоедно зверски. Страшно много подсчетов. *(Мне пришлось овладеть обращением с такой дьявольской машиной, как арифмометр, калькуляторы до нас еще не дошли.*—Я. Г.) Эти дни минуты свободной не было. Старый нормировщик запустил дело, и приходилось разбираться во всякой чепухе за несколько дней. Теперь маленько посвободнее. (Вот время на письмо нашлось, а, например, вчера это было немыслимо, спал по 3 ч. в сутки.) <…> Мы, рота, живем в лагере, а один взвод на разъезде за 10 км. Для учета работ часто приходится туда ходить. От этого 50% занятости. Иной день по 2 раза прогуляешься. Но прогулки хорошие. В степи масса цветов (лето дождливое). Огромные желтые цветы под названием „ лилии". Форма колокольчиков, а по размерам колокола. Ярко-красные саранки. Слышали? Типичный степной цветок. *(Позже я выяснил, что ошибался. Именно лилии и были саранками.* — Я. Г.) Цветы, формой схожие с ромашкой, но с фиолетовыми лепестками. Много, очень много цветов. В каждой палатке цветы. Машины украшены цветами.

Вчера поздно вечером любовался ночными занятиями реактивных истребителей: стрельба по летящей мишени. Прожектора, яркие, стремительные созвездия опознавательных огней, багровые следы трассирующих снарядов».

Цветы приводили меня в восхищение, и это эстетическое чувство однажды спровоцировало довольно нелепую и забавную ситуацию. Это было уже в июне, когда смотреть на цветущую степь было истинным наслаждением. Меня

послали из лагеря на разъезд с каким-то поручением. Лагерь, как я уже писал, располагался в семи километрах от разъезда. На обратном пути я собрал большой букет цветов, чтобы поставить их в нашей палатке. Когда я подошел к лагерю, на переднюю линейку вышел наш командир роты с какими-то более высокими чинами. Это была группа проверяющих. Все они с некоторым изумлением воззрились на солдата с букетом цветов. Я, прижимая букет левой рукой к плечу, откозырял, как положено. Но гости неодобрительно покачали головами, а комроты был явно смущен. Когда проверяющие ушли, он вызвал меня и сказал приблизительно следующее: «Ну как же ты так? Ты же солдат! Какие букеты могут быть?» Никаких последствий этот мой легкомысленный поступок не имел. Наш капитан был человеком справедливым. Был он, как все наши офицеры, с капитанского звания начиная, фронтовиком. Необычайно худой, но мускулистый, он, когда обнаженным до пояса умывался у своей палатки, напоминал перевитый мышцами скелет. Люди такой конституции, как правило, чрезвычайно выносливы. Он это доказывал, когда командир полка подполковник Коротченко, чтоб мы не забывали, что служим в строевой части, несколько раз по выходным устраивал марш-бросок на десяток-другой километров. В летнюю жару. Все строевые офицеры принимали в этом участие. Наш капитан, прекрасно помню, даже не потел.

Взводом, который дислоцировался на разъезде и строил офицерские домики, командовал мой добрый знакомый старший лейтенант Ткачук. Когда я впервые появился на разъезде в новом качестве, он встретил меня со всем почтением — хотя наверняка помнил свою апрельскую выходку — и дал понять, что хорошо бы вывести его взводу достойные результаты. И тут я на нем отыгрался.

«На что вы меня толкаете, товарищ старший лейтенант? — спросил я. — Я не имею права искажать отчет». Ткачук стал еще румянее, чем всегда. Думаю, что больше всего ему в этот момент хотелось дать наглецу по физиономии или по крайней мере поставить по стойке смирно и объяснить ему, кто он такой. Но сделать этого он не мог. Он теперь от меня зависел. И он забормотал нечто невразумительное: «Да нет, ты меня не так понял… просто… ребята стараются…» Я ответил: «Товарищ старший лейтенант, я обязан указать в ведомости ровно столько, сколько наработает ваш взвод. Разрешите идти?»

Вспоминая через шестьдесят лет этот диалог, я, конечно,

не ручаюсь за слова. Но за смысл — ручаюсь. Уж очень большое удовольствие я тогда получил. Ведь если бы по представленным мной данным оказалось, что его взвод не выполняет план, ему сильно нагорело бы.

Уж не помню, что там было дальше. Думаю, что я вывел его взводу результат, достаточный для получения прогрессивки. В конце концов его солдаты были не виноваты, что их командир — антисемит…

Ежели вернуться к цветам, то, увы, их время вскоре закончилось. Степь выгорала, и главным элементом в пространстве становился песок.

Палатки наши были устроены довольно своеобразно. Мы выкапывали квадратные котлованы — метр с лишним глубиной — по размеру палатки и устанавливали ее над этим котлованом. Смысл подобной конструкции был в том, что внутри котлована — по его обводу — мы вырубали в твердом грунте плоскости, которые заменяли отсутствующие койки. На эти плоскости укладывались доски, а на них тюфяки. Но при этом в палатки легко проникал вездесущий песок. Это не способствовало гигиене, тем более что ничего подобного бане у нас, разумеется, не было. Лицо и руки можно было вымыть под масштабным умывальником, установленным под открытым небом. А в остальном… Смутно вспоминаю, что иногда удавалось сходить на озеро, расположенное в нескольких километрах. То ли от засилья песка, то ли от особенностей рациона — недостатка витаминов — у нас начался массовый фурункулез. У меня до сих пор сохранились шрамы на шее и ногах.

Писал я все реже. Родные мои с этим постепенно смирились. Времени для писем было теперь достаточно. Но стиль жизни и службы существенно изменился. Я жил теперь в отдельной палатке — ротной канцелярии. Лева Сизов жил в палатке с ротным старшиной Володей Калмыковым, из Сталинграда, очень колоритным парнем. Это был настоящий строевик, окончивший полностью — в отличие от меня — полковую школу. Не могу сказать, что мы были друзьями. Володя вообще был человеком довольно замкнутым и даже суровым. Но отношения у нас были хорошие. Перед демобилизацией он подарил мне свою фотографию, надпись на которой я приведу в свое время.

Став ротным нормировщиком — «техническим специалистом», каковых в полку было двенадцать, — я, не будучи младшим командиром, попал тем не менее в «батальонную элиту». Это давало и некоторые привилегии, и

новое самоощущение.

Должность была ефрейторская — я стал получать уже не тридцать, а сорок рублей, — но когда начштаба предложил мне присвоить звание, соответствующее должности, я гордо отказался. Я не собирался задерживаться на посту нормировщика.

Мне, воспитаннику Джека Лондона, это казалось чем-то не слишком достойным. Уж если служить в армии, то надо быть армейцем, а не «техническим специалистом». Ефрейторское звание тоже представлялось мне каким-то несерьезным. В глубине души я не терял надежду получить сержантские лычки. Как-то при случае я сказал гвардии майору Ширалиеву, что учился в полковой школе. Он не стал вдаваться в подробности, но головой кивнул — мол, принял к сведению. Каждые полгода демобилизовывались несколько сержантов. Те, которым давали звания, были слабо подготовлены. Во всяком случае, за большинством из них не стоял отдельный учебный стрелковый полк гвардии полковника Хотемкина.

Теперь это юношеское честолюбие мне не очень понятно, но — что было, то было.

В это же время, к осени 1955 года, полк стал испытывать явный дефицит офицерских кадров. Боевым офицерам не нравилась их новая служба, и они предпочитали демобилизоваться, а лейтенанты — взводные, — как я понимаю, добивались перевода в более перспективные части. Командование полка нашло выход. Командирами взводов стали назначать старшин срочной службы.

Командиром первого взвода, в котором я еще недавно служил, стал мой приятель Миша Чигвинцев, из Бишкека, в советское время называвшегося Фрунзе. Мы познакомились в эшелоне по дороге из Совгавани в Цугуловский Дацан. Он был тогда рядовым. Чигвинцев окончил полковую школу в/ч 01106, стал сержантом — по службе был на год меня старше, — а потом его разжаловали. За что, он никогда не говорил, а я не спрашивал. Но, зная его характер, сильный и самолюбивый, предполагаю, что причиной был серьезный конфликт с непосредственным начальством.

В в/ч 11225 ему быстро вернули звание, и, когда я стал нормировщиком, а старший лейтенант Мелешко от нас ушел, Мише дали старшину и назначили командиром взвода. В то же время командирами второго и третьего взводов стали старшины Станислав Луцкий и Сергей Мороз, о которых я упоминал. Они тоже служили по полтора года, были старше

большинства из нас по возрасту, в армию ушли с комсомольской работы. Что не мешало им быть очень славными людьми.

Все они, вместе и порознь, как и Юра Рыбин, и Лева Сизов, бывали вечерами у меня в палатке, когда не было аврала с очередным отчетом. Леня Турчин оказался несколько в стороне, впрочем, мы сохраняли дружеские отношения и виделись. Повторю, жизненный стиль принципиально изменился, но я воспринимал происходящее как паузу, как отдых перед продолжением настоящей службы.

4.VIII.1955. «Боже, боже! Ну думал ли *я,* что мне когда-нибудь придется писать месячные отчеты по аэродромному строительству?! *(Не совсем понятно, при чем здесь «аэродромное строительство», разве что для красного словца. Известно, что мы строили.—Л. Г.)* Это же издевательство какое-то! Ну, посудите сами—разве это занятие для ницшеанца, эстета и т. д. ? Форменное издевательство!»

Разговоры про «ницшеанца, эстета», разумеется, были ироничны в значительной степени. Но — не совсем. Строевая должность для «ницшеанца» оказалась бы куда органичнее.

Чигвинцев, у которого осенью должен был во взводе остаться один сержант — огромный флегматичный украинец по фамилии Дрозд, был не прочь заполучить меня командиром первого отделения и, соответственно, помкомвзвода. Но говорить об этом было еще рано.

В том же письме: «Кстати, знаете, что я ел на днях? Ананасы! Вообще оригинально — солдаты, питающиеся ананасами. *(Небось речь о консервах, компоте в жестяной банке.* — Я. Г.) Читаю Ирвинга. Очень хорошо. Да, „Золотой тушок" действительно ведет свой род от одной из легенд ирвинговской „Альгамбры". Я в этом убедился сам. Ничего не поделаешь. <...> Погоды у нас скверные. Холода, ветры, дожди. По ночам и утрам просто мороз. В палатках довольно прохладно. Однако ничего, закаляемся. Казармы еще не готовы.

Да, еще такое дело. Батальонный комсорг питает надежды принимать меня через некоторое время в кандидаты партии. По-моему, надежды неосновательные. Я думаю, вы с этим согласны. Не для меня. Нет.

Так-то. Скоро зима. Познакомимся с забайкальской зимой. Она, говорят, нешуточная. Поглядим».

Вот опять — этот небрежный переход от консервированных ананасов к Ирвингу и соображениям об источнике «Золотого петушка»...

И порадовал меня сегодня пассаж относительно партии. Стало быть, уже тогда я понимал, что от этой организации надо держаться подальше.

В этом же письме есть одна существенная вещь, о которой я уже писал домой, — возможность сдать через два года службы экзамены на младшего лейтенанта запаса. Для этого нужно было иметь среднее образование. И я серьезно рассчитывал на этот способ сократить свое служение Отечеству.

«Те 16 человек, 53-го года призыва, что сдавали недавно на офицера запаса, собираются домой, за исключением трех, проваливших: 2 — историю партии, 1 — тактику. Ну, для этого нужно быть абсолютными идиотами».

Я не сомневался, что сдам эти экзамены с легкостью и отправлюсь домой. Этот мотив теперь постоянно появлялся в моих довольно редких посланиях.

18.IX.1955. «Привет, дорогие. Рад, что все в порядке, что литературной работы хватает, что все здоровы и летом довольны».

Предшествующие годы были для моих родителей очень нелегкими. Уволенный в 1949 году как космополит из Пушкинского заповедника, отец, тем не менее, сумел выхлопотать себе разрешение вернуться в Ленинград.

Но его зарплата учителя литературы в вечерней школе была невелика, мама тяжело болела, бабушкина пенсия была смехотворна. Пока был жив старший брат отца, дядя Саша, занимавший крупный пост в Министерстве финансов, он ежемесячно посылал бабушке деньги. Но он внезапно умер в 1952 году. Финансовое положение нашей семьи было довольно затруднительным. В пятьдесят пятом году вместе с изменением общей ситуации в стране улучшились и литературные дела отца.

А на будущий год его пригласили занять должность заместителя директора по научной части Всесоюзного музея Пушкина…

В том же письме: «Ну, у нас погоды не столь изумительные, как в Ленинграде. Ночью холодище, утром заморозки, просыпаешься — палатка как жестяная, залубенела. Степь от инея голубая. Постепенно теплеет. Если небо чистое—ничего, а когда тучи—прохладно.

Живу недурно, середина месяца — больше бездельничаю, чем тружусь. Читаю. Очень жду книг. Когда будет время и желание, подошлите. На особое изобилие фруктов и овощей пожаловаться не могу, ел за лето 2 раза огурцы, 1 раз — помидоры. Фруктов,

кроме ананаса, не наблюдалось. Ну, на будущий год, бог даст, поедим всякой разности.

Степь красива. Желтая, выгоревшая за лето, она расшита багровым узором—листья какой-то травы, увянув, окрасились в осенний цвет клена. Огромное количество мышей, тушканчиков, сусликов.

Полк отстраивается. Когда мы впервые пришли на это место —здесь была степь, нетронутая степь. Теперь — настоящая стройка. Скоро переедем в казармы.

Двенадцатый месяц моей службы. Год. Половина. *(Очевидно, я твердо рассчитывал на офицерское звание.*—Я. Г.) Быстро время прошло. А бывало, думается: „Черт возьми, как тяжело, как плохо. Это никогда не забудется". Забывается, однако. Скоро забудется и вся служба».

Я очень ошибался. Во-первых, предстояло еще много интересного, а во-вторых, служба не забывается никогда, и первые годы после демобилизации она особенно ярко окрашивает память. И прежде всего вспоминалась именно Совгавань , отдельный учебный стрелковый полк и все, что там происходило. Это была настоящая служба.

Задачу этого мемуара я декларировал с самого начала и не буду повторяться. И без того слишком много места уделено быту. Но особое впечатление производили летчики — офицеры полка реактивных истребителей. Красивые — как мне теперь вспоминается, — лихие ребята, бесшабашно гонявшие по степи на своих мотоциклах.

Однажды я шел с разъезда в наш лагерь, и проезжавший мимо летчик предложил меня подбросить. Это было сильное впечатление. Он не жалел газа, и когда колесо мотоцикла попадало в сусличью нору, машину бешено швыряло. Как я не слетел с заднего сиденья, уму непостижимо!

Надежда переехать в казармы до морозов не оправдалась. Слишком поздно начали строительство.

5.X.1955. «Привет, дорогие. Боюсь, что немного вы в этом письме поймете. Ну, тут я неповинен. Чернила замерзли, придется карандашом писать, да и руки мерзнут.

Сегодня разделался с месячным отчетом, буду месяц отдыхать.

У нас зима, только снега нет. Ну, а льда хватает. Живу в палатке. Прохладно, конечно, но зато свежего, здорового, бодрящего, морозного воздуха — избыток. Это недурно. Лечат же легочных больных подобным способом—сон на крышах и т.д. Я как всегда здоров. Надо сказать, что своим здоровьем я доволен, оно меня не подвело. Ведем совершенно лондоновский образ жизни, только что золота не моем. Утром вылазишь из-под одеяла с великой неохотой, в кровати тепло, потому что наваливаешь на себя поверх двух одеял шинель, бушлат, телогрейку и все, что под руку попадется. Спать очень хорошо, только того и гляди уши во сне поморозишь. Встаешь, вода замерзла—мыться нечем, разогреваешь ее на костре, моешься, и все входит в обычную колею. Работаю я в штабе батальона, там тепло. Скоро переедем в казармы. Ну, на жизнь не жалуюсь».

На жизнь жаловаться было бы грешно. У меня были прекрасные отношения с офицерами. Собственно, в новой своей ипостаси я имел дело с двумя из них—уже знакомыми нам начштаба гвардии майором Ширалиевым и замполитом гвардии майором Мурзинцевым. Поскольку командир батальона так и не был за все это время назначен, фактически батальоном командовал Ширалиев. Штатный комбат гвардии майор Загоруев появился уже в Алзамае, в тайге, в январе или феврале 1956 года.

И Ширалиев, и Мурзинцев относились ко мне, можно сказать, по-отечески. Они знали, что я не напьюсь, в самоволку не уйду и так далее. Кроме того, на фоне пестрого и своеобразного состава их подчиненных я, полагаю, отвечал их представлениям о том, каким должен быть солдат. Хотя бы в отношении выправки, умения обратиться по-уставному, отдать честь, четко сделать поворот кругом и т.д. Усилия офицеров и сержантов в/ч 01106 даром не пропали. А я еще и форсировал свое отличие в этом отношении от большинства своих сослуживцев.

С сослуживцами тоже было все в порядке. Появились новые если не друзья, то приятели. В палатку, где я проводил свободное время, часто наведывался огромный добродушный татарин — Бикбулатов, которого шутник Кузнецов называл

«Бык буланый».

Промежутки между письмами становились все длиннее. Следующее письмо я отправил почти через месяц, в самом конце октября. Оно не датировано, но я в нем поздравляю папу и Мишу с днями их рождения. А это 29 и 30 октября.

«Переехали мы в казармы. Относительно теплые. Но я большую часть времени провожу в штабе батальона.

Это отдельный домик. Сейчас я в нем. Пишу вам послание. Один. Обитающие в нем окромя меня бат. писарь и нормировщик ушли в кино. Смотреть Иван Бровкин".

Я этих Иванов Бровкиных в натуре достаточно нагляделся, даже чересчур. Мне нет надобности еще и в кино на них любоваться. За окном темно. Только далеко справа, на аэродроме, блестящее пятно прожектора.

„И суровая мрачная степь пролегла между нами". Да, в степи сейчас мрачно. <…> У нас зима, снег. Ветры холодные. Не настоящая, конечно, зима, а так—предисловие, увертюра.

Огромное спасибо за книги. С удовольствием читаю Дживелегова, прекрасно пишет.

Будьте здоровы, дорогие. Никогда обо мне не волнуйтесь».

Батальонные писарь и нормировщик — это Лева Сизов, из ротного ставший батальонным писарем, и Юра Рыбин.

А раздраженный пассаж относительно Иванов Бровкиных никак не относился тотально к моим сослуживцам, хотя в полку было достаточно малосимпатичных личностей. Раздражение мое скорее относилось к фильмам о Советской армии, имевшим мало общего с реальной армейской жизнью.

Впрочем, я помню и эпизод другого рода. Мы еще в Совгавани смотрели какой-то фильм, в котором фигурировали, кажется, голландские военные. Там была сцена, в которой солдаты, сидя за аккуратными столиками, пили кофе и ели бутерброды с сыром. Зал захохотал.

Кофе? Бутерброды с сыром? Что это за армия? Куда им против нас!

Какую книгу Дживелегова прислали мне из дома — не помню. Возможно, это биография Данте в довоенной серии ЖЗЛ, которая сегодня стоит у меня на полке. Поскольку на книге нет штампа букиниста, это не мое приобретение. Вероятно даже, что это книга из «великого шкафа». Она вышла в 1933 году, и дядя Владимир мог приобрести ее до ареста. А мой брат, узнав из письма, что я интересуюсь Данте как предполагаемым персонажем, извлек ее из шкафа.

Но полной уверенности нет.

Не то чтобы у меня была оживленная переписка с моим

братцем, но я регулярно справлялся о нем в своих письмах, а он несколько раз почтил меня довольно забавными посланиями. Он уже тогда — в 6-7-м классах — отличался ироническим отношением к миру и ко мне в частности.

Его первое письмо в Совгавань от 14 февраля 1955 года под эпиграфом «В глубине сибирских рек жил один сверхчеловек» *начиналось стихами:* «Привет тебе, мой юный брат, герой, философ и солдат!!!»

В этом же письме он сообщал: «Я прочел три хорошие книги — „12 стульев", „Золотой теленок" и „Лунный камень"».

Поскольку все домашние письма я вместе со своими отправлял обратно, то написал на полях: *«Ерунда это, а не хорошие книги. Сдашь экзамены—я тебе напишу, что читать».* Стрелок-карабинер считал, что в 6-м классе надо читать что-то посерьезнее.

Не избежала его иронии и моя армейская карьера. «Ты человек занятой, в чинах, поэтому тебе, наверно, некогда читать такие длинные и скучные письма».

Именно благодаря его ироническим обращениям я смог установить хотя бы приблизительное время, когда мне присвоили сержантское звание.

Очевидно, все же некоторые мои письма не сохранились или я не смог найти их среди родительских бумаг. Я наверняка писал о таком существенном для меня событии, как получение вожделенных лычек. Но это письмо отсутствует.

Однако пробел восполняется письмом Миши. «Привет тебе, брат сержант! Сегодня 1 августа. Вот уже неделя, как я прочел „Мартина Идена" и пытаюсь (каждый день по два раза) безуспешно выразить на бумаге впечатление от этой „злополучной" *(?!*—Я. Г.) книги». *Конечно, ему рано было читать «Мартина Идена», но, видно, я настоял.*

Поскольку 1 августа Миша знал, что его брат — сержант, стало быть, звание я получил не позже июля.

Есть и еще одна хронологическая веха — мой комсомольский билет. С августа вместо взносов с 40 руб. ефрейторских я стал платить со 100 руб. — сержантские с доплатой за помкомвзвода.

Правда, грамота Министерства обороны, которую я получил — приказ командующего Забайкальским военным округом от 8 августа 1956 года, — была дана мне как рядовому. Но это означает, что представление командования полка было направлено в округ значительно раньше, чем вышел приказ о присвоении мне звания.

Кстати, как впоследствии выяснилось, сам приказ так и не был отправлен в штаб округа, что сыграло, быть может, существенную роль в моей отнюдь не только армейской судьбе.

В дальнейшем Миша обращался ко мне «Mon General».

«Mon General! Вчера получили твое письмо от 15/VIII. Документы такого рода в нашем доме появляются довольно редко. Видно, бокс занимает много времени. <…> Если ты будешь писать так же мало и редко, как до сих пор, смотри*!* — мы тоже будем посылать тебе одни телеграммы».

Боксом я тогда и в самом деле занимался. Но письма писал редко, как я уже объяснял, по другой причине.

Миша взял на себя функцию снабжения меня книгами. Во всяком случае, их выбора. «Тебе будет послан толстенный том Брет Гарта. <…> В продаже есть книга Виппера „Борьба течений в итальянском искусстве XVI века". Она будет куплена и послана тебе после того, как будет прочитана в Ленинграде».

Не помню, получил ли я Виппера, но во второй половине 1956 года мне уже было не до такой изысканной литературы. Да и не до литературы вообще…

Пока же, осенью 1955 года, несмотря на жизнь вольготную, книги занимали в этой жизни не прежнее, но значительное место.

К этому времени я стал смотреть на происходящее со мной как на некое приключение, чему способствовала смена амплуа, смена географического пространства. Это, конечно, была служба и в то же время путешествие. И у меня появилось ощущение изжитости «монгольского периода». Я знал, что будут перемены, и перемены к лучшему, перемены, несущие новые впечатления.

Через несколько лет, когда я работал в экспедициях на Севере, такое же чувство было у меня перед каждым отъездом в мою Якутию и, более того, каждое утро уже в тайге — перед каждым новым маршрутом. Мне хотелось увидеть, что там, за следующим водоразделом или — в Верхоянье — за следующим перевалом… В этом была особая прелесть экспедиционной работы. Нечто подобное стало ощущаться и в армии.

В ноябре 1955 года я написал последнее, так сказать, интеллектуальное письмо. Точной даты нет. На ленинградском штемпеле — 28.XI. Стало быть, отослано было авиа, дня за четыре.

«Я, как всегда, здоров. Бездельничаю. Читаю. *Г*отовлюсь к отъезду в тайгу.

Взял вчера в библиотеке *(В полку уже была своя библиотека.* — Я. Г.) очень занятную книгу. Называется она „Качалов". Толстая, в белой обложке. Может, видели? Его статьи и, в основном, о нем. Его творческая биография. Разбор всех его работ. Какой гигантский диапазон. От Вс. Иванова до Гамсуна. Он играл в гамсуновской пьесе „У врат царства". Очень сильная и весьма известная вещь. Играл главную роль интеллигента-ницшеанца Ивара Карено. На этот счет говорится, что зритель, мол, завороженный и т. д., переставал слышать его „повисшие в воздухе" реплики о сверхчеловеке. То есть бедный зритель не понял абсолютно ничего. Идея „сверхчеловека"—суть пьесы. „Актер вступил в единоборство с автором". Хорошая ситуация. А спросить автора всей этой чепуховины: что такое „сверхчеловек", реплики о котором повисают в воздухе, вряд ли он скажет что-нибудь путное, помимо стандартных глупостей, такие вещи противно читать. Что меня поразило особенно, так это качаловский концертный репертуар. Нужно иметь блестящую

память, чтобы держать в голове хотя бы четверть этой массы. Я, по приблизительным подсчетам, знаю всего лишь десятую часть того, что знал он, считая и монологи, и сцены, с которыми он выступал на концертах».

Надо признать, что сапер-мостостроитель, он же временный нормировщик, несколько преувеличил свою эрудицию и возможности своей памяти. Что тут скажешь — юношеское самоутверждение в нетривиальных обстоятельствах. Но как и культурные сюжеты вообще, так и отстаивание ницшеанских принципов подходило к концу. Важнее были грядущие перемены и сильные последние впечатления от монгольской степи. Природа давала завершающий спектакль, прощальное представление — чтоб запомнили...

27.II.1955. ***«Привет, дорогие. Давно нет от вас писем. Как живете? Приходил ли к вам мой посланник? Передал ли книгу?*** **(Я уж и не помню, что это был за посланник. Очевидно, кто-то демобилизовавшийся. А книгу я с ним отправил, чтоб сохранилась.—*** ***Я. Г.)***

Пишете, что беспокоитесь, — напрасно, друзья. Совершенно напрасно. На днях мы уезжаем всем батальоном в Сибирь, под Красноярск. *(На самом деле под Иркутск.*—Я. Г.) Будем там жить всю зиму, а может, и совсем останемся. Наши ребята уже бывали там в командировке. Рассказывают: тайга, людей кругом мало и то на расстоянии, подобие землянок в качестве жилищ. Ну вот, познакомимся и с сибирской тайгой. Занятно. Оттуда еще проще будет уехать в отпуск. Хотя и отсюда несложно. Дело двух

месяцев. Оттуда до вас всего б суток. Пустяк.

Кстати говоря, меня сегодня снова остригли. Был уже порядочный чуб, и никто не предъявлял никаких претензий, так принесла нелегкая какое-то начальство из округа, что- то вроде инспекторской проверки.

Пришлось постричься. Ну, ничего. Это в последний раз. Уедем в лес, отпущу шевелюру.

По всему этому на здешний адрес больше не пишите. Скоро пришлю новый.

Итак, турне по Азии продолжается: Дальний Восток, Забайкалье, Сибирь. Посмотрим, что будет дальше.

Поездке этой я очень рад. Разнообразие—большое дело. Кроме того, климат там лучше. Летом ягоды, грибы. Вы понимаете, насколько мне приятнее проживать в лесу, чем на этой лысине.

Конечно, первое время, пока устроимся, будет трудновато, но...

Не колебаться,
Сильным являться!
О, призовите помощь богов!

Последуем совету Гете».

Читатель наверняка почувствовал изменение тональности писем. Только что процитированное по своей возбужденности напоминает письма с дороги из Ленинграда в Совгавань. Служба меня уже не тяготила, а предвкушение новых впечатлений вдохновляло.

Конечно, очень хотелось побывать дома. Я и побывал, но не через два месяца, а через четыре с лишним.

7.XII.1955. «Привет, дорогие. Кончился отчет, снова переселяюсь в Страну Великого безделья».

Об этом «Великом безделье» я неоднократно писал домой, несколько приукрашивая реальность. На самом деле между месячными отчетами тоже находилось немало дела. Отчет — результат собранных за месяц данных о ходе работ — занятие достаточно хлопотное. Требующее, в частности, постоянных прогулок из места дислокации на разъезд. Зимние походы по ледяной степи — возвращался я часто уже в темноте, ориентируясь на огни аэродрома и фонари нашего городка — были глубоко памятным сюжетом. Мне особо запомнился один такой поход. В небе висела огромная, белая

от мороза луна, а в это время проходили ночные учения истребителей.

Идти приходилось через аэродром, поперек взлетных полос. И когда над тобой на низкой еще высоте пролетал самолет, то реактивный грохот буквально прижимал к земле…

«На этой неделе должны уехать. Едем, едем, черт возьми, и никак не уедем. Зима у нас заправская. Сегодня утром было за -30. Прелесть! Просто Клондайк! Жаль, что я не золотоискатель. Плевок на лету замерзает. Позавчера вечером начался сильнейший буран. Офицеры, служившие в этих местах раньше, говорят, что давно уже такого не было. Что-то дикое. В воздухе летают не отдельные снежинки, но глыбы рыхлого сырого снега. Страшной силы ветер несет их с огромной быстротой, завывая при этом самым жутким образом. Темень—хуже могильной во сто раз. Густые снеговые тучи облепили небо и не пропускают ни единого звездного либо лунного луча. Ни малейшего намека на видимость. Казармы трепещут. Это — природа во всей красе».

Это был не единственный буран в том декабре. Во время одного из них замерз наш солдат. Он пошел зачем-то на автономную электростанцию — метров триста от казарм, — а когда собрался обратно, начался буран и, как я и писал, мгновенно исчезла всякая видимость. Он не смог разглядеть огни передней линейки городка, заблудился и замерз. Его нашли, когда буран кончился, в нескольких сотнях метров от казарм…

Столь внезапное возникновение буранов придавало особый колорит и моим походам на разъезд: ощущение, что где-то притаилась злая и неодолимая сила, было сильным и тревожным.

Позже, в конце пятидесятых, я попытался выразить это ощущение в стихах:

Дымные змеи поземки.
Степь от тревоги свело.
Голову спрятав в потемки,
Спит небывалое зло…

И последние строки:

Скоро, привстав и примерясь,

Вырастет зло до небес.

«Жалок человек, носа не смеет высунуть. Не то закрутит, заметет — и конец.

Кончилась „эта прелесть"утром, т.е. продолжалась часов 14. Степь вымело начисто, как паркет. Зато весь снег снесло к казармам, и теперь городок имеет весьма жалкий вид. Причем во время бурана было довольно тепло, а теперь морозец знатный. Ну, мне-то не страшно благодаря вашим щедротам. Спасибо, дорогие, теплые вещи мне очень и очень пригодились: в то время как другие мерзнут, я хожу как туз. <…> Здоров я абсолютно. Мерился недавно. Сантиметра на два вырос как будто. Великан из меня довольно никудышный, но я не очень огорчаюсь. Утешаюсь тем, что мой коллега Бонапарт был не выше».

Было во мне 1 метр 67 сантиметров…

Неопределенность длилась. Чем это было вызвано, нам не объясняли.

20.XII.1955. ***«Привет, дорогие. Получил ваше письмо. Простите, родные, за беспокойство, которое я вам доставил, сам того отнюдь не желая.*** **(Моему семейству и в особенности бабушке казалось, что я окружен страшными опасностями, и двухнедельный перерыв в письмах приводил их в волнение.—** ***Я. Г.)***

Мы с начала месяца непрерывно уезжаем и никак не уедем. Да и кроме того, клянусь всем на свете, что у меня не было таких больших перерывов. Я начинаю подозревать, что какая-нибудь почтовая девушка, прельстившись моим роскошным почерком, решила сохранить мое письмо в качестве сувенира. *(Смысл шутки в том, что почерк у меня довольно безобразный, а письма были написаны тупым карандашом.* — Я. Г.) По-моему, вполне возможный вариант.

И когда только я вас приучу к спокойствию и трезвости?! Учтите на будущее, дети, что я буду жить в тайге, за 9 км от станции, так что с почтой будет, увы, не шикарно. Постараюсь, разумеется, чтобы все было более или менее нормально.

Живем мы теперь в казарме. Довольно тепло, довольно светло, вполне сносно».

Писать о наших казармах в таком тоне, конечно, свинство. После житья в палатках при минусовой температуре это была нормальная жизнь. Но я уже избаловался.

«Одно время жили в штабе батальона. Втроем. Батальонный

нормировщик, писарь и я». *То есть мои дружки Юра Рыбин и Лева Сизов.* «Роскошно жили. Это небольшой, совершенно отдельный домик. Топили крепко, тепло было. Вели независимое существование. Но пару дней тому назад нашим житьем-бытьем заинтересовался комполка и выгнал нас в казарму. Чтоб ему...

Ну да нам уж недолго здесь пребывать.

Спрашиваешь, мама, „Что делаешь?" Да ничего весь месяц не делал, читал, немного бумагу портил да просвещал своего непосредственного начальника Юру Рыбина по истории литературы. Только и всего. <...> На отпуск надеюсь в ближайшие два месяца. Посылки получил, и ту и другую. Огромное спасибо за яблоки, хорошая это вещь.

Я абсолютно здоров. Вполне сыт. Особенно в последнее время. Чем кормят? Отнюдь не жареными соловьями. Картошка, капуста, каша. Сорт третий. *(Да, это вам не северный совгаванский паек!*—Я. Г.) Но при хорошем аппетите и это неплохо».

Наконец что-то стало проясняться.

28.XII.1955. «Привет, дорогие. Я уеду отсюда 30-го. Новый год встречу в поезде где-нибудь за Иркутском. Купили ли елку? Кого думаете пригласить на Новый год?

Ленинград, наверно, уже иллюминирован. Я слышал, что морозы у вас сильные, правда ли? У нас сегодня на восходе солнца было -48°.

Днем спустилось до -40°. Совершенно лондоновская погода, жаль только, что одеты мы более жидко, чем аляскинские конквистадоры.

Кончается полугодие. Что у Михаила слышно? По-прежнему на высоте? *(Мой братец был круглым отличником.*—Г.) В первое же письмо на новый адрес вкладывайте, дети, пару фотографий. Очень вас прошу. Страшно хочется взглянуть на вас и на себя, какими мы были „в те баснословные года". Скоро ли выйдет папина книжка? Грибоедовский альбом? Что поделывают наши прекрасные дамы? Чем они собираются встретить грядущий год? Как ваше здоровье, дамы милые? Держитесь молодцами. Я скоро приеду и устрою вам инспекторский смотр. Будьте в полной форме. „И я, ваш верный, ваш единственный, Я поведу вас на Берлин!" *(Цитата из Игоря Северянина времен Первой мировой.*— Я. Г.) Как чувствуешь себя, папа? Эти дни ты будешь свободнее, может, напишешь? И Михаил, быть может, почтит? Однако же, гордости у этого кутенка поболее, чем у испанского инфанта. Разумеется, если его блестящие достоинства дают ему право на это, то я очень за него рад.

Читал я эти дни книгу о Гюго, страшно бесцветно и неумно написанную. Брандес намного лучше. Мама, помнишь, я еще из

Сов. Гавани просил тебя прочесть „Homo sapiens" Пшибышевского и „Девы скал" Д'Аннунцио. Прочла? Ты обещала.

Сразу по получении этого письма можете отвечать. Адрес:

Иркутская обл., станция Алзамай, в/ч 11225 „Б". Скорее бы в тайгу. Зайцев ловить».

Зайцев оказалось много, судя по следам. Не поймал ни одного...

Никуда мы 30-го не уехали. Наш городок, стоящий посреди голой зимней степи, напоминал какой-то пустынный мираж, если смотреть со стороны.

Без даты. Скорее всего, именно 30 или 31 декабря 1955 года. «С Новым годом, друзья дорогие. Я все еще на 77-м. Каждый день уезжаем и до сего дня едем. Из батальона нас осталось два десятка человек. Остальные уже уехали».

Начштаба, отправив батальон, оставил при себе команду, которая должна была сопровождать его и штабные документы. «По-видимому, Новый год мне придется встречать здесь, а в первых числах января махнем в Сибирь. Я здоров, бодр и т.д., несмотря на то, что морозы стоят зверские: -35°, -38°, -40° и еще похлеще. Вот когда я узнал, что такое МОРОЗ. Дни прекрасные, солнечные. Воздух чистейший, все промерзло: стены казарм трещат, к металлу не прикасайся.

Плюнешь—плевок на лету мерзнет. Ну, это все ничего. Героям Лондона приходилось иметь дело и не с такими холодами. *(Я не подозревал, что и мне придется иметь дело с морозами до 50°.—Я. Г.)* Правда, они были одеты в меха, а не в шинели, но тем не менее...

Кстати, я делаю наполеоновскую карьеру. Подумать только — я уже не ротный нормировщик, но старший нормировщик лейб-гвардии его величества 2-го батальона. И в ближайшее время мне будет присвоено звание ефрейтор».

Ну, мы помним, от ефрейторского звания я, поразмыслив, отказался. Ширалиев пожал плечами, но приказывать не стал. Однако тут налицо какая-то путаница, разобраться в которой я за давностью лет уже не могу. Как я писал, ротный нормировщик занимал ефрейторскую должность. Стало быть, старший нормировщик батальона должен быть младшим сержантом. Каковым и был Юра Рыбин, занимавший эту должность до поры. Почему же я опять угодил в ефрейторы — вопрос неразрешимый. Да и не слишком важный. Поскольку Юра никуда не делся, он, очевидно, был повышен в должности — выведен на полковой уровень. Так я предполагаю.

Стало ясно, где мы встретим Новый год. И мы—та

небольшая группа, что осталась в полупустом городке, — начали готовиться к празднованию.

Главная идея принадлежала Мише Стукову, черноусому красавцу, плотнику из Рязани. Уж не помню, каким образом, но по его инициативе мы ухитрились купить на разъезде несколько бутылок спирта и некоторое количество сахару. И Миша пообещал приготовить ликер.

Странно было ходить по полуопустевшему городку среди воздвигнутых нами казарм и жить в пустой казарме. Новый год мы решили отметить в каптерке — помещении небольшом и потому уютном и теплом. Стуков, как и обещал, приготовил свой экзотический напиток. Он слегка разбавил спирт, сыпанул туда сахару и сварил эту смесь на плите в домике хозвзвода. Она — плита — была единственной во всем городке. Закуску — не помню, врать не буду.

Быть может, отчасти ее составляли те самые яблоки, что мне прислали из дома…

Угощение — стуковский ликер в алюминиевых кружках и прочее — было расставлено на одной из коек. Точно помню — той, что стояла у левой стены. В казарме было радио. Дождались курантов и только собрались выпить, как распахнулась дверь и на пороге показался молоденький младший лейтенант — дежурный по части, — а за ним два солдата с нарукавными повязками. Патрули. Пауза… Лейтенант смутился больше, чем мы, нарушители устава. Он не знал, как поступить. Новый год все же. Не уехавшие еще офицеры гуляют на разъезде. Он, бедняга, оставлен блюсти дисциплину… Ну что — испортить ребятам праздник? Кругом черная ледяная степь, а здесь какой-то теплый уголок…

«Товарищ младший лейтенант, — после короткой паузы сказал Стуков, — садитесь к нам! С Новым годом!»

На такую вольность лейтенант оказался неспособен. Он тихо сказал: «Я ничего не видел», — сделал шаг назад и закрыл за собой дверь.

Все пошло своим чередом. Как другие — не помню, а я точно не напился. Это вообще был второй случай, когда я употреблял крепкий напиток. Первый был за несколько месяцев — летом. Ребята где-то раздобыли водки. Нас было несколько человек, а водки, думаю, чекушка. Пошли в домик хозвзвода, растопили—жара стояла страшная — вышеупомянутую плиту.

Каждый делал глоток и держал голову над горячей плитой. Эффект точно усиливался…

Да, первый раз я попробовал водку в 19 лет.

Я вообще был очень благонравным юношей. В 8-м классе я ходил в зоологический кружок во Дворце пионеров — собирался стать зоологом. В кружке было много девочек — в отличие от школы. Обучение было раздельное. И когда в один прекрасный день одна из девочек позвонила мне по телефону и срывающимся, отчаянным голосом призналась в любви, я молча повесил трубку и в кружок больше не ходил. Зря, наверно…

В первых числах января 1956 года мы наконец отправились в путь. С гвардии майором Ширалиевым ехало нас человек пять-шесть. Помню только Леву Сизова и Мишу Стукова. Ехали мы в плацкартном вагоне. По дороге произошел курьезный инцидент. Один из солдат — помню его в лицо, но не помню имени, очевидно из хозвзвода, — ухитрился каким-то образом напиться. Вероятно, на одной из многочисленных станций. Ехали мы несколько дней. Поезд был отнюдь не скорый, а расстояние только от Читы до Иркутска, если верить Интернету —1101 км. Да еще до Читы надо было доехать от 77-го разъезда.

Так вот, в один из вечеров этот парень, будучи пьяным до невменяемости, почему-то решил обличить нашего майора. Мы уже собирались ложиться спать, когда услышали его хриплый, но внятный голос: «Товарищ майор! Вы свинья!» Какой бес в него вселился, непонятно.

Я увидел, как у Ширалиева сжались его маленькие пухлые кулаки. У майора при его достаточно высоком росте и крупном телосложении были маленькие руки и ноги. Размер его хромовых сапог точно не превышал сорокового размера.

Я замер, ожидая, что этот обличитель сейчас получит здоровенную оплеуху. Рука у майора была тяжелая. Бывало, что он вразумлял сильно пьяных и не поддающихся словесным увещеваниям рядовых. Никто, впрочем, не обижался.

Но тут был другой случай — вокруг находились гражданские, которые с интересом наблюдали эту неожиданную ситуацию. А парня заколодило, и он как заведенный твердил: «Товарищ майор! Вы свинья!» На наши уговоры он не реагировал. Наконец Миша Стуков скрутил его и уложил на полку, где тот немедленно заснул. Утром он ничего не помнил…

Никакого продолжения — к чести Ширалиева — эта дурацкая история не имела.

8.I.1956. «Привет, дорогие. Ну, я на новом месте. Город замай, полтора бревенчатых домишка. Станция. Мы стоим в девяти километрах от этой станции в тайге. Казармы — большие землянки. Печи — железные бочки. Но тепло, дров много, бочки все время раскалены.

В полукилометре от нашего бивуака несколько казарм и офицерских домиков—расположение соседнего батальона. И все. Кругом тайга, тайга и тайга. Восточная Сибирь — самые большие лесные массивы. Второе место после бассейна Амазонки. Настоящий медвежий угол. Медведей, правда, встречают здесь не часто, из хищников в основном рыси. Ну, мелочи всякой хоть пруд пруди.

Места красивые—холмы, овраги непрерывные, ровного места с ладонь не найдешь. Лес довольно густой: сосна, лиственница. Снега—горы. Ну, мне-то он не страшен. *У* меня, как у большого начальника, новые валенки с высокими голенищами. Много брожу по лесу. Гораздо приятнее, чем в забайкальских степях. Летом будут грибы, ягоды, чем не жизнь? *(По неопытности автор письма не знал, что кроме грибов и ягод в тайге летом имеются в неограниченных количествах комары и гнус.*—Я. Г.) Погода сейчас хуже, чем в Забайкалье — там солнце непрерывно, а здесь пасмурно. И теплее. Правда, первый день, что мы здесь были, ознаменовался примерно -40-42°. Ну а теперь теплее стало. В общем, живем недурно. Не совсем респектабельно, умывальника, скажем, нет, на улице моемся. Кормят здесь не в пример лучше, мы питаемся вместе с соседним батальоном. Порции, разумеется, те же, но приготовлено лучше.

Я здоров идеально. Ничего пока не делаю. Наслаждаюсь свежим воздухом и жду отпуска. Заниматься будем лесоразработками. Работа, правда, тяжелая и небезопасная. Как только получите письмо, сразу отвечайте. Подробнейшим образом пишите, как Новый год провели. Фотографии шлите обязательно».

Письмо, как я теперь вижу, нуждается в достаточно подробном комментарии. Написано оно было явно вскоре по прибытии на место. И впечатления автора поверхностны и неточны.

Алзамай, конечно же, состоял не из полутора домишек. Просто мы с поезда сразу отправились к месту дислокации, было это, возможно, уже затемно, отсюда и впечатление от увиденного.

Придется немного забежать вперед, чтобы восстановить реальную картину.

23.III.1956. «Мама, ты просишь, чтобы я об Алзамае

написал. Пожалуйста. Небольшая станция с крохотным вокзальчиком, на несколько километров вокруг, вернее в три стороны, поселок, сравнительно со станцией порядочный. Два клуба, они же кинотеатры. Штук шесть продовольственных магазинов, в которых, окромя водки, консервов и дешевых пряников, редко что найдешь. Вообще со снабжением гражданского населения здесь плохо. Я недавно ехал с одним шофером, так старик мне чуть шинель не проплакал — ни масла, ни сахару, говорит, нет, ни сладкого детям.

А в колхозах вокруг прекрасно живут. Четверо наших ребят ездили для колхоза лес валить электропилами—кормили их, как на убой. *Г*оворят, богатый колхоз. А следующий еще богаче. <…> Алзамай почти весь одноэтажный, только несколько правительственных каменных зданий в два этажа. Скверный городишко. Ленинград лучше».

Местоположение нашего батальона я тоже описал почему- то не совсем точно. Метрах в двухстах, за довольно глубоким, но вполне проходимым оврагом, располагались небольшой клуб и контора леспромхоза.

И клуб, и леспромхоз играли в нашей — и в моей в частности, — жизни весьма заметную роль. Странно, что я о них забыл.

Но главной моей ошибкой была фраза о небезопасности предстоящей работы, фраза эта чрезвычайно встревожила мою семью и особенно бабушку. И, как увидим, мне пришлось умалчивать о некоторых сторонах моей жизни и всячески семейство успокаивать.

14.I.1956. «Устроился я на новом месте недурно. Не так уж, правда, комфортабельно, но я уже настолько отвык от минимальных удобств, что довольствуюсь крайне малым. Здоров отменно. Желаю и вам быть столь же здоровыми, и все будет прекрасно. Много гуляю.

Участок, на котором работают наши люди, за 6 км от землянок, в которых мы обитаем. Я хожу туда через день. Иногда по дороге, иногда напрямик через лес. Роскошные прогулки. Лес густой, много бурелома, на высоких местах встречаются целые полосы наваленных ветром деревьев, и внушительных притом. Масса снега. Морозы эти дни небольшие. Вообще сколько говорят о сибирских морозах. А ведь ерунда. Морозы здесь очень легко переносятся. Единственная теплая вещь, которую я ношу (кроме шапки и валенок),—это легкая телогрейка. И тепло. В Забайкалье морозы жестче. Приучили».

Служба моя в это время существенно изменилась. И дело,

естественно, было не в ефрейторском звании—лычку я так и не пришил на погон, считая это недостойным ницшеанца, — а в том, что работа нормировщика, в отличие от времени, когда мы строили свой городок, была, собственно, не нужна.

Для того чтобы это было понятно, надо объяснить, чем мы там, в тайге, занимались.

Мы валили лес. И какой лес! Огромные кедры, сосны, лиственницы — вековые деревья. На вооружении у нас были

электропилы. На участок трактор притаскивал походные армейские электростанции, и электропилы подсоединялись к ним длинными кабелями.

При каждом солдате с электропилой состоял его напарник с шестом, которым подталкивал и направлял подпиленный ствол. Работа и в самом деле была небезопасная. Спокойно можно было, зазевавшись, попасть под падающую махину. Но леспромхозовский мастер, высокий мужик в роскошных рукавицах яркого лисьего меха (предмет моей зависти), очень толково нас инструктировал и — особенно первое время — глаз с наших ребят не спускал. Был за все время только один несчастный случай. Рухнувшее в правильном направлении дерево попало на скрытый снегом старый пень, спружинило и огромным комлем ударило по крестцу стоящего рядом солдата. Увечье было, конечно, страшное. Парня увезли на платформе трелевочного трактора. Что с ним было дальше, мы не знали.

Стволы — несмотря на толстый слой снега — падали с мощным гулом. Их валили так, чтобы они укладывались в одном направлении параллельно друг другу. Тут наступала очередь сучкорубов — ствол надо было очистить. И вот эту работу я довольно часто выполнял. Когда я писал, что через день хожу в лес, то не объяснял, что же я там делаю. Я мог, собственно, этим и не заниматься. У меня были и другие задачи, о которых я еще скажу. Но мне было просто неловко перед ребятами, которые шесть дней в неделю делали очень нелегкую работу на морозе. А морозы, как я потом писал, наступили. И доходили они до 50°. В -50° не работали. А в -45° — вполне.

От мороза особенно страдали среднеазиатские ребята, которых было довольно много. Разрешалось разводить костры, чтобы греться время от времени. Но им это мало помогало.

Однако я не помню ни одного случая обморожения. В отличие от Совгавани, где все мы ходили в той или иной степени обмороженные после строевой подготовки на

открытом плацу.

С топором я до этого времени дела не имел. Но у меня оказались умелые и доброжелательные учителя. Большинство ребят было из деревни. Топором они владели с детства. И недели через две я уже вполне успешно делал свою работу. Конечно, работал я не каждый день, но все же моя инициатива имела двойной смысл. Во-первых, ребята видели, что я не отсиживаюсь в тепле, а хоть и нерегулярно, но тружусь рядом с ними. Во-вторых, я на всю жизнь за эти месяцы научился владеть топором. Мне это очень пригодилось, когда в 1959 году я работал в Северной Якутии на электроразведке — мы искали алмазы. Чтобы оконтурить трубки и дайки — кимберлитовые тела, которые могли содержать алмазы, — нам приходилось вырубать километры просек. Этого требовала технология разведки.

И на сию пору топор остался любимым моим инструментом, с которым соперничать может только лопата…

А в Алзамай я ходил отнюдь не на прогулки. Я был теперь кем-то вроде представителя батальона при леспромхозе. В конторе леспромхоза я вместе с нашим мастером составлял документы, фиксирующие выработку батальона. Учитывать ее было гораздо проще, чем на строительстве нашего городка. Там были десятки разнообразных работ, а здесь — объем заготовленной древесины, и все. После того как очищенные от сучьев стволы — хлысты — делили на равной длины кряжи — раскряжевывали, трелевочные трактора оттаскивали их на специальную расчищенную тут же в тайге около дороги площадку и грузили на лесовозы. Но перед этим кряжи укладывали в аккуратные штабеля, и мастер в своих шикарных лисьих рукавицах замерял объем каждого штабеля. Единственным его инструментом был складной деревянный метр.

Никакой специальной техники, разумеется, не было, и кряжи на лесовозы закатывали вручную, по уложенным наклонно от земли до края платформы лесовоза средней толщины бревнам, используя в качестве рычагов ваги — короткие крепкие шесты. Это была, пожалуй, самая неприятная работа. Сорвавшийся кряж мог снести и раздавить человека. Но Бог миловал.

Мне несколько раз приходилось — по собственной инициативе — участвовать в этой процедуре. Помню это малоприятное ощущение опасности.

На 77-м разъезде нам приходилось разгружать

платформы с лесом. Это тоже требовало постоянной настороженности, но было куда проще, чем погрузка на лесовозы.

Конечно, профессионалы-лесозаготовители могут презрительно усмехнуться, если им попадется этот текст. Но мы-то не были профессионалами. Из всего батальона только несколько человек раньше на гражданке работали на лесоповале. В частности, Ванеев, убийца, амнистированный в 1953 году. Он, кстати, именно на лесоповале и убил своего напарника. Подробности, о которых он весело рассказывал, довольно жуткие, — опущу. Парень был как парень. С плоским розовым затылком, переходящим в такую же розовую толстую шею. Похож был на большого поросенка.

С тех пор как началась работа, наш батальон перешел на автономное питание. Причем обедали мы в тайге. Трактора притаскивали в каждую роту походную кухню с горячей едой. Я почему-то особенно запомнил раскаленно-горячие борщи, которые повар разливал в алюминиевые миски. Это пиршество на морозе доставляло особое удовольствие. И вообще кормить нас стали лучше — отдельная кухня этому весьма способствовала.

Надо сказать, что наши офицеры, включая майоров Изралиева и Мурзинцева, большую часть рабочего времени проводили в тайге с личным составом. Разумеется, для порядка хватило бы ротных и взводных, но начштаба и замполит считали своим долгом разделить с солдатами все особенности пребывания в тайге при любом морозе.

Ни единого слова о своем участии в реальной работе я, разумеется, домой не писал.

Из того же письма: «Через день хожу в Это за

9 км. Там строгие патрули, и ходить туда приходится в сапогах и в шинели».

Об алзамайском патруле я потом написал рассказ «Володя», один из четырех моих армейских рассказов. А оговорка о сапогах и шинели имела серьезный смысл — топать 9 км по тайге даже в «легкий» тридцатиградусный мороз в сапогах, а не в валенках было некоторым испытанием. Шинель тоже согревала относительно. Надо было очень быстро двигаться.

«У меня есть удостоверение, в котором сказано, что

предъявитель сего такой-то имеет право свободного хождения по городу Алзамай. Благодаря этому удостоверению имею возможность ходить туда в любое время. Возможность, которой, кроме нас с Рыбиным, никто не имеет. Мы там обедали пару раз

вполне прилично. Кстати, есть здесь междугородний переговорный пункт, и как только получу получку, а платят мне теперь как ефрейтору уйму денег—40 рублей, сразу позвоню вам. Минута стоит всего 3 р. 70 коп. Ждите».

Надо сказать, что эти без малого полгода в Алзамае были лучшим временем моей службы. Впервые я располагал достаточно высокой степенью свободы. Конечно, вышеозначенное удостоверение было выдано мне вполне прагматически — поскольку в любой день меня могли вызвать в леспромхоз для оформления документов или решения каких-либо рабочих проблем. Но в отличие от Ванинского порта и тем более монгольской степи мы впервые оказались вблизи, пусть и такого небольшого, как Алзамай, города. И постепенно этот условный город стал мне нравиться. Можно было в воскресенье сходить в кино, в клуб на танцы, оказаться среди нормальных людей, одетых в скромную, но гражданскую одежду, можно было полюбоваться на румяных сибирских девушек и даже с ними познакомиться… Впрочем, о девушках разговор еще впереди.

А вокруг был лес — настоящий могучий лес, напоминавший вековые ели и сосны Михайловского бора. А лес я с детства любил больше всего.

Правда, для того чтобы испытать все эти удовольствия, надо было проделать 18 км по морозной тайге. Ну и что?

Из того же письма: «Организуется у нас художественная самодеятельность. Я, разумеется, активный участник. Участвуют и дамы, несколько девиц из Алзамая. Дамочки, между прочим, еще те. Вообще, чем дальше на восток, тем нравы проще. Азия».

Ума не приложу — почему я так писал об этих девушках. Лихость одолела. На самом деле они были очень разные. В том числе славные и скромные.

Скажем, Толя Физер быстро завел натуральный роман с молодой, но явно бывалой женщиной. И даже размышлял — не жениться ли, не увезти ли ее к себе в Закарпатье? Осенью подходил срок его демобилизации. Не женился и не увез.

У моего друга Стася Луцкого, командира второго взвода, была совершенно другая история. В него влюбилась молоденькая, недавно окончившая десятилетку, очень милая девушка, дочь одного из леспромхозовских начальников. Не то чтобы она была так уж красива, но, безусловно, обаятельна, женственна и неглупа. Ей, конечно же, страстно хотелось выйти за Стася и уехать с ним в далекий таинственный Львов, а не коротать жизнь в захолустном Алзамае. Не знаю, насколько адекватно отвечал мой друг на

ее чувство, но, несомненно, и он был увлечен. Во всяком случае, он запросил, как полагалось, разрешение командования на женитьбу. Я помню, как они с майором Мурзинцевым обсуждали этот вопрос. Спокойный и опытный замполит советовал Стасю не торопиться с решением.

Не помню, чем дело кончилось — увез Луцкий девушку во Львов или нет. Финал нашей с ним общей службы проходил в хаосе расформирования полка, и эта ситуация как-то выпала из поля моего зрения.

А девушка была трогательная. Стась как-то привел меня к ней в гости в Алзамае. Семья жила в просторном, вполне по-городскому обставленном бревенчатом доме. И Лидия первым делом продемонстрировала мне свой аттестат. Почти все пятерки, совсем немного четверок. Ей надо было показать другу своего жениха, что она не какая-нибудь провинциальная темная девица…

Очень хотелось бы верить, что все у них сладилось.

И почему я, будучи в семидесятых годах во Львове, не попытался отыскать Стася? Черт меня, дурака, знает. Позже я приведу стихи, которые он мне написал перед демобилизацией…

В любом случае присутствие девушек в нашей самодеятельности очень оживило обстановку.

Мы с Мурзинцевым составили композицию — песни, стихи. Я читал фрагменты из «Думы про Опанаса» Багрицкого, благо помнил ее наизусть.

Был при этом один забавный эпизод. После репетиции майор подошел ко мне и очень деликатно и несколько смущенно сказал: «Знаешь, вот там, где бандиты все говорят: „Убьем Когана! Убьем Когана!" — это, пожалуй, не стоит…» Ну, я не стал спорить, тем более что таких строк вообще не было.

Мы развлекали нашей композицией не только свой и соседний батальоны, но ездили в другие части, расположенные вдоль Транссибирской магистрали. Репетировали мы, разумеется, после рабочего дня и в выходные.

Что касается девушек, то была у меня забавная и невеселая история. Еще в нашем степном городке ходили слухи, что в Алзамае нас ждет встреча с удивительной красавицей, весьма популярной среди офицеров, племянницей комполка Мариной, заведующей вещевым складом.

Слух оправдался — Марина действительно была очень

красива: темноволосая и светлоглазая, с удивительно нежным цветом лица. Ходила она в телогрейке, что ее не портило. Хотя, как выяснилось, она предпочитала другой наряд. В самодеятельности она не участвовала, и, встречаясь иногда в расположении батальона, мы даже не здоровались. В апреле меня наконец отпустили в отпуск. Каким-то образом она об этом узнала. Накануне моего отъезда подошла ко мне и робко спросила — не могу ли я привезти ей из Ленинграда свежий журнал мод? Я удивился, но пообещал. Казалось бы, сюжет был исчерпан. Но Марина стала рассказывать о себе, жаловаться на грубость окружающей жизни. Мы стояли у входа в штаб батальона, и проходящие мимо солдаты многозначительно ухмылялись. Про Марину ходило много разговоров, и я знал, что у нее роман с двухметровым разбитным старшиной. Зачем ей понадобилось налаживать со мной какие-то отношения, было мне непонятно.

Я привез ей самый дорогой и толстый из найденных мною модных журналов. Точно помню, что стоил он 25 рублей. Больше половины моей ефрейторской получки. Когда я — по возвращении — принес свой подарок к ней на склад, она была потрясена и взяла журнал с такой осторожностью, как будто он был хрустальный. И спросила, сколько она мне должна. Я ответил элегантно, но несколько легкомысленно: «Если ты хочешь быть со мной в дружеских отношениях, то никогда об этом не заговаривай!» Я не имел в виду ничего конкретного, но она поняла это по-своему, зарумянилась и взяла меня за руку. Мой опыт общения с женщинами и, соответственно, знание женской психологии были равны нулю, но что-то я все же сообразил. Это был случай, схожий с ситуацией Стася Луцкого. Вряд ли я казался ей таким уж обольстительным, тем более что она была года на два-три меня старше. Видел я ее старшину — красавец! Но роман со старшиной особых перспектив не имел, а я был из Ленинграда… А ей предстояло мотаться по воинским частям со своим дядей полковником… Что там было с ее семьей, я не помню, хотя она и рассказывала.

Я осторожно высвободил руку, еще что-то куртуазное сказал и ушел. Через несколько недель нас перебросили под Иркутск, а на новом месте дислокации полка я Марину почему- то больше не встречал.

Потом уже я представлял себе реакцию моей семьи, если бы я привез в наши три комнаты в коммуналке красавицу-жену из Сибири. Без профессии, без заработка, с неясным будущим — хорош муж…

Вернемся, однако, назад — к хронологии.

22.1.1956. «Привет, дорогие! Получил ваше письмо от 16.I. Пусть мои слова о „небезопасности работы" *(Черт меня, дурака, дернул за карандаш!—*Я. Г.) вас ничуть не тревожат. Я-то лес не валю. Бываю в лесу, когда бог на душу положит. Два-три раза в неделю. Остальное время хожу в Алзамай, поселок как-никак, люди живые. Или читаю. Мы взяли для роты в библиотеке соседней части 70 книг. Книги выбирал я. Часа два копался, но, разумеется, десяток книг подобрал специально для себя: Эренбурга, А. Толстого, Герцена, Нексе, Гюго. Днями сижу у печи и читаю. Сейчас „Падение Парижа" перечитываю. „Аэлиту" повторил с удовольствием. Правда, она не произвела на меня столь сильного впечатления, как в первый раз. В первый раз прочел повесть А. Толстого „Эмигранты". Прекрасно.

Приеду скоро, родные. Видите ли, я безусловно персона значительная, но, увы, я пока не командир батальона. Однако все впереди.

Страшно огорчило меня известие о разгроме библиотеки Дома книги. Сильно потрепали? Сколько еще читать надо, а в городе ни одной приличной библиотеки не осталось. Ницше наверняка изъяли. Кому мешают книги? Книги не для того ли предназначены, чтобы их читать? Это, кажется, вполне ясно. Когда Савонарола жег книги—это понятно, но теперь к чему?»

Можно только умилиться ефрейторской наивности. Странно, что библиотеку Гослита не почистили гораздо раньше. Как мне потом объяснили, инициатором этой акции был новый директор Учпедгиза, некто Бессонов, человек малограмотный и злобный. Очевидно, он забрел в библиотеку, которой пользовались все издательства Дома книги, и возмутился ее идейной порочностью.

Относительно того, что, мол, в городе не было больше приличных библиотек, я имел в виду — библиотек, мне доступных.

Приблизительно в это время у нас появился штатный командир батальона — гвардии майор Загоруев, рослый, суровый.

Вместе с гвардии майором Ширалиевым они составляли очень внушительную пару.

Вскоре после его появления я получил свое второе поощрение.

Первым было — еще в монгольский период — письмо родителям (была такая форма) от замполита батальона, в котором гвардии майор Мурзинцев от лица командования выражал благодарность моим близким за то, что они

воспитали такого замечательного военнослужащего. Письмо это затерялось в обширном домашнем архиве. В отдельно хранившихся моих письмах его не оказалось. Может быть, еще найдется. Как и характеристика, присланная мне комроты старшим лейтенантом Давыдовым для поступления в университет. Давыдов служил в другой, естественно, части, но еще до моей демобилизации он получил новое назначение и оставил мне свой адрес.

Что же до упомянутого поощрения, то это была «Поздравительная открытка». Вот она передо мной, с эпиграфом в верхнем правом углу: «„Наш лозунг должен быть один — учиться военному делу настоящим образом". В.Н. Ленин».

Далее говорилось: «Товарищ Гордин Я. Поздравляю Вас с отличными результатами, достигнутыми в 1955 году, и объявляю благодарность.

Желаю новых успехов в учебе и труде. Командир Загоруев».

Текст в основном типографский — «и труде» дописано от руки. Что неудивительно. Строевая часть должна была заниматься соответствующим обучением, а не валкой леса. Мы, саперы-мостостроители, должны были практиковаться в наведении переправ.

Но жаловаться грех — разумеется, служить в арзамасской тайге было куда приятнее, чем осваивать свою уставную профессию.

«Здравствуйте, дорогие. Получил ваше письмо от 29/1. **(Стало быть, это письмо можно датировать приблизительно 4-5 февраля, если оно было авиа.—*** ***Я. Г.) В ближайшие дни решится вопрос — поеду ли я в феврале в отпуск или опять это затянется до следующего месяца. Что касается экзамена на чин, то на этот счет мы побеседуем при личной встрече».***

Что бы это значило? Что Ширалиев уже вел со мной какие- то разговоры о сверхсрочной службе, а это делало лишними хлопоты, сопряженные с экзаменами? Честно скажу, не помню.

«Мишка, говорите, лепит хорошо? Героический ребенок, я всегда был о нем самого лучшего мнения! Не предсказывал ли я ему блестящего будущего? Судя по фотографии, он стал роскошным вьюношем, само собой разумеется, что все дамы, начиная от 7-го класса и ниже, хиреют не по дням, а по часам от тоски по нему. Шевелюра у него роскошная. Только вот с бицепсами, как я вижу, не блестяще. Надо бы ему плюнуть на все его болезни и заняться спортом. Такой ослепительный молодой

человек должен быть развит всесторонне. Товарищи, товарищи,— этому обормоту скоро будет 15 лет... Скандал... Мне уже 20, почтенный возраст. <...>

Между прочим, морозы последнее время не только у вас. Если в Ленинграде до -30°, то и Алзамай не отстает. Здесь на два десятка градусов прохладнее. Хоть мы люди и закаленные, а все-таки это противная вещь. Иногда приходится ходить в Алзамай пешком, когда машин нет. Чудная картинка! Самому не холодно, если быстро идешь, я гуляю в полушубке, но через пять минут ходьбы замерзает нос. Отогреваешь его рукой. Рука становится как деревяшка, в перчатке ее уже не согреешь. Приходится засовывать ее в карман брюк. Там она постепенно оттаивает. Снова мерзнет нос, греешь его уже другой рукой, та в свою очередь коченеет и т. д. Так, чередуя руки, движешься крупной рысью. Веселое зрелище».

По воскресеньям в главном клубе Алзамая происходили танцы.

В один из таких дней я познакомился там с худенькой симпатичной девушкой, которая обратила на себя мое внимание прежде всего своей шубкой синего цвета — очевидно, верх был искусственной кожи. В клубе в тот раз было холодно, и танцевали не раздеваясь. Танцевали под патефон. Мы договорились, что и в следующее воскресенье я приду и мы встретимся. В следующее воскресенье мороз был -50°... Но не мог же я обмануть девушку в такой шубке! Тем более что в Алзамай за продуктами шла машина.

На танцы в полушубке и валенках не отправишься. В сильные морозы алзамайские патрули не так строго соблюдали устав строевой службы, и можно было появляться там одетым не по форме. Я надел шинель, начистил сапоги. У меня уже были для таких случаев перешитые брюки, напоминавшие галифе. Такое нарушение формы никакой мороз не извинял, но патрули меня знали, знали, что я в некотором роде на особом положении, и вряд ли стали бы придираться.

В кабину полуторки сел офицер. Больше там места не было, и я устроился в кузове. Вспомним, какая была температура... По таежной дороге девять километров — довольно длительный путь. Короче говоря, когда машина остановилась перед магазином в Алзамае, где мы получали продукты, то самостоятельно вылезти из кузова я уже не мог, поскольку совершенно задубел. Мне помогли добраться до раскаленной высокой круглой печки в магазине, где я постепенно обрел способность двигаться. Машину нагрузили.

Офицер остался в Алзамае — там он и жил. А я сел в кабину и вернулся в часть. Танцевать я, конечно, смог бы. Но возвращаться поздно вечером пешком в -50°, девять километров по тайге в сапогах и шинели… На такой героизм ради девушки в синей шубке я оказался не способен.

Странно, но больше на танцах она не появлялась. Впрочем, я почти и не бывал на них, поскольку выходные часто заняты были репетициями самодеятельности или поездками с концертами.

Наши репетиции я по сию пору вспоминаю с каким-то особенно приятным чувством — теплый маленький клуб, алзамайские девушки, по-отечески приветливый гвардии майор Мурзинцев, другие участники, Стась Луцкий и Сережа Мороз, взводные в том числе… Все было как-то очень славно.

Уже в апреле, когда морозы ослабели, я любил в перерывах выходить в гимнастерке на край нашего оврага — клуб стоял, как помним, именно на краю, — и смотреть на звезды: звездное небо и бесконечная тайга вокруг…

17.II.1956. «Привет, дорогие. Получил ваше последнее письмо. Простите, немного задержал ответ <…>. Каждый день приходилось бывать в Алзамае. Часто ходил туда пешком. Погода эти дни стояла превосходная, и прогулки эти доставили мне массу удовольствия. Относительно тепло. Солнечно. Идешь, идешь, потом встанешь и слушаешь: ветра нет, тихо, сосны от мороза потрескивают, иногда дятел постучит, в Алзамае вопят паровозы. Пихты, кедры, сосны—зеленые. Особенно кедры. Снег сверкает, небо—синее ослепительно.

На деревьях блистающий снег. Сочетание яркой зелени игл и переливающихся блесток изумительно. Деревья на дальних сопках теряют объемность и кажутся нарисованными на ярком синем фоне. Очень красивы сосновые стволы, освещенные солнцем, они кажутся прозрачными, напоминают вкусный цвет густого меда. Замечательно красиво, друзья. <…> На днях позвоню вам, звонить буду рано утром по вашему времени. Ждите.

Я записался в библиотеку алзамайского клуба „Сибиряк". Вообще-то для этого нужно поручительство из части и всякая прочая бюрократия, но я расплакался в жакет библиотекарши. Жалобно стонал, говорил, что не могу жить без пищи духовной, что „гибну, принц в чужом краю, клинком отравленным заколот", и сопровождал это потоками слез. Перед библиотечной девушкой встала дилемма: записать меня или превратиться в русалку. Она предпочла первое. Здесь есть собрание сочинений Лондона, то самое, которое и вы получаете. Я читаю уже третий том.

Масленица. Иногда хожу в Алзамай, в клуб, в кино. Обычно на 9 часов. Правда, после этого приходится переться 9 км в темноте, но зато культурно развлекаюсь. В последний раз смотрел „Максима

Перепелицу". Слышали об этом шедевре? Классический образчик бездарности. Скоро должен идти французский фильм „Идол" с участием Ива Монтана. У вас, наверно, уже идет? Очень хочу посмотреть. В общем, как видите, живу по-барски.

Обменяли нам комсомольские документы. Одну карточку из тех, что для билета сделали, посылаю. Полюбуйтесь, какую круглую морду отрастил ваш преподобный сынок».

19.11.1956. «Я здоров. Читаю Лондона. 22-го будем устраивать концерт в честь 38-й годовщины Армии. Буду читать Багрицкого и вести концерт».

17.111.1956. «Опять вы пишете, что волнуетесь. Но, товарищи дорогие, разве вам неизвестно, что я—ницшеанец. Учтите: Воля правит ходом развития вселенной, а следовательно, некоторым волевым усилием можно без особого труда отогнать любую самую ужасную напасть. Что я и делаю! Теперь вы понимаете, что мне не грозит решительно ничего. А следовательно, отпадает и надобность волноваться за меня <...>. Единственно о чем прошу—пару платков и пару книг (знаете, у нас есть книжка о Фрейде „3. Фрейд и его учение"). И еще просьба: ходите по внешнему краю тротуара. Хорошо? *(Проблема сосулек тогда уже была актуальна.* — Я. Г.) Я здоров. Читаю Байрона. Учу кое-что. Много бываю в лесу».

5.IV.1956. «Весна пришла, товарищи. У нас уже тепло, ручьи; на дорогах грязи по колено и выше. Скоро машины станут. Будем сидеть в лесу, как медведи. С 20-го из-за распутицы прекращаются работы.

Днем уже совсем тепло, солнце греет, на косогорах снег стаял.

Весна. На вербе—почки. Вторая зима прошла. Еще одна осталась — пустяк! Если не сократят срок службы. Но на это рассчитывать особенно не приходится. <...> У нас теперь один взвод живет и работает за 22 км, второй за 12 и третий за 4. И будьте добры, т. Гордин, везде побывать. Тоже—фокус. Так что этот месяц мне суждено провести на дорогах. Быстро время пройдет. Взял я в библиотеке том Бальзака, и лежит он у меня на столе—читать некогда. Сейчас, когда я пишу, уже 1-й час. <...> Между прочим, среди наших офицеров ходят упорные слухи относительно того, что Север по нас скучает. Не знаю, насколько это верно, но я лично ничего против не имею.

Я как всегда здоров—свежий воздух в крупных дозах

оказывает прекрасное действие на организм. Сегодня полдня провел в Алзамае—надо было испросить разрешение на переезд трактора с прицепом через линию. *(Т. е. через железнодорожные пути.*—Я. Г.) Переругался со всеми на свете, но разрешение получил. Только в одном мне повезло—мне пришлось заявиться на квартиру к бригадиру переезда и там, по причине редкой красоты моих глаз, я был угощен горячими блинами.

Между прочим, я пишу—а вокруг моих сапог мыши хороводы водят.

Их у нас в штабе великое множество. Настолько много, что мы опасаемся подвергнуться участи епископа *Г*атона из английской баллады: „Весь по суставам он был разнесен — так был наказан епископ Гатон". <…>

Как вы? Как Мишкины дела? Что лепит сейчас этот соперник Рафаэля и Буонарроти? <…> Мыши подлые прямо по сапогам ходят, на ноги наступают, оттоптали все ноги».

Чтобы понятна была ситуация — мы с Юрой Рыбиным и Левой Сизовым, батальонным писарем, жили не в общей казарме-землянке, а в штабе батальона. В этом был двойной смысл. Во-первых, нам было вольготнее. Во-вторых, когда утром гвардии майор Ширалиев приезжал из Алзамая, то в штабе было тепло. А это требовало немалых усилий. Штаб помещался в дощатом домике, в центре которого стояла на кирпичах огромная буржуйка. И чтобы поддерживать приличную температуру, топить нужно было почти непрерывно. Особенно когда морозы переваливали за -40°. Спали мы на дощатых топчанах, укрывшись всем, что подходило для этой цели. Но ночью приходилось по очереди вылезать из своего логова несколько раз и подбрасывать дрова в печь. А дров было в избытке. К штабу привозили с делянок на тракторном прицепе огромные смолистые плахи, преимущественно кедр, и в мои обязанности входило помимо прочего колоть их на дрова. Что я делал с большим удовольствием.

К восьми утра, когда начштаба прибывал в расположение батальона, мы были уже одеты, умыты и готовы к действию. И в штабе было жарко.

В конце февраля я наконец осуществил свою мечту и позвонил с алзамайской почты домой. Это было непросто из-за разницы во времени. Тогда эта разница между Алзамаем и Ленинградом составляла восемь часов. Стало быть, чтобы не разбудить всю нашу большую коммунальную квартиру — телефон стоял в коридоре, — нужно было звонить или утром, или поздно вечером. Утром оказаться в Алзамае было для

меня проблематично. Кроме того, вечером действовал льготный тариф, а стоимость разговора с Ленинградом была достаточно значительной. И я отправился в Алзамай вечером, чтобы позвонить в полночь. В восемь часов утра многие наши служащие соседи уже вставали.

Начало марта 1956 года. «Прошла уже неделя со дня нашего телеразговора. Не знаю, как на вас, а на меня он произвел очень отрадное впечатление. После него я шел домой из Алзамая, я с почты звонил, по лесу. Мне не раз приходилось ходить здесь ночью, и каждый раз километре на пятом- шестом у меня портилось настроение. Этот раз я прошел все девять в чудном расположении духа. Хорошо. Я очень доволен, что позвонил.

Посылки, дети, не надо. Я вполне сыт, как вы могли понять по толстой моей физиономии на фото. А вот от пары книг я бы отнюдь не отказался».

Услышать впервые за полтора года голоса родителей и брата…

Заметим — расположение батальона я называю домом…

А ночные походы и в самом деле никакой сложности не представляли. Неширокая дорога шла между двух плотных стен мощных деревьев. Сбиться с пути даже в темноте невозможно. Волчьи следы мы видели редко, медвежьих не видели вовсе, а нападение рыси было крайне маловероятно. Зверье, очевидно, распуганное нашими электропилами и частым паровозным ревом на станции, ушло в более глухие места.

В конце апреля мои гвардии майоры — Загоруев и Ширалиев — решили, что пора отправлять меня в отпуск. Может быть, они уже знали о грядущей передислокации батальона и хотели, чтобы я съездил домой до усложнения ситуации.

Но прежде чем писать об отпуске и финале нашего пребывания в алзамайской тайге, необходимо рассказать об одном значительном и по-своему характерном эпизоде.

Был это, скорое всего, март. Я возвращался из очередного похода в Алзамай. Когда я подходил к нашей казарме-землянке, из нее выскочил узбек по прозвищу Максимка в залитой кровью гимнастерке и, причитая, соответственно, по-узбекски, куда-то помчался.

Прозвище свое этот весьма разбитной паренек получил из-за поразительного сходства с негритенком, персонажем одноименного фильма по рассказу Станюковича. Веселый и бойкий, он пользовался общей симпатией, но иногда в своей бойкости переходил разумные границы. Я помнил его еще по

Совгавани. В нашем стрелковом полку он был приставлен к лошадям на хоздворе и лихо разъезжал по городку на санях, перевозя малогабаритные грузы.

В землянке возбужденно толпились десятка полтора солдат, вернувшихся из наряда.

Из разговоров я понял, в чем дело. «Анучин, падла, Максимку избил!»

Младший сержант Анучин, здоровый сибиряк, черноволосый и черноглазый, был нашим ротным санинструктором.

Делать ему было абсолютно нечего. Он целыми днями валялся на койке в специально отделенном для него отсеке. Любимым его занятием было «качать хобот». Означало это вот что: два человека становились лицом друг к другу, заводили руки под затылок противника и старались как можно ниже наклонить его голову. Это была отличная тренировка для шеи и прилегающих мышц спины. Я иногда в свободные минуты принимал участие в этой молодецкой забаве. Анучин был вне конкуренции.

Максимка зачем-то пришел в санитарный отсек и, очевидно, надерзил Анучину. А тот несильно — иначе результат был бы другой — смазал ему по физиономии. Но задел нос. Из носа хлынула кровь и залила гимнастерку. Никаких увечий Максимка не получил, но вид у него был устрашающий. Возмущенные свидетели решили проучить Анучина, а он заперся в своем отсеке. Когда я вошел, то увидел возле его двери своего земляка Ромашова с топором в руке. Он собирался выломать дверь, но благоразумно передумал, и дело ограничивалось злобной перебранкой.

Я сел на нары и стал переобуваться — менять валенки на сапоги.

Не знаю, кто сообщил об этих событиях Ширалиеву. Он почти вбежал в землянку, мгновенно оценил ситуацию и рявкнул:

— В одну шеренгу становись! Смирно!

Смущенные мятежники исправно выполнили команду. Я, не успевший переобуться, сунул ноги в валенки и встал на левом фланге. Майор мотнул в мою сторону головой:

— Выйди из строя!

Я вернулся на нары и снова стал переобуваться, с интересом наблюдая, как поступит начштаба. Он же видел топор в руках у Ромашова. Теперь никакого топора, конечно, не было.

Зрелище оказалось незаурядным. Полтора десятка солдат

— рослый Ромашов правофланговым — стояли вытянувшись и не дыша. Массивный Ширалиев с налитыми кровью, черными выпуклыми глазами, тяжело дыша от ярости, мягко, как тигр, ходил взад и вперед вдоль строя. К моему удивлению, он не рычал, как бывало, когда гневался, а непрерывно что-то говорил вполголоса. Я сидел довольно далеко и слов не разбирал, но, как рассказали потом ребята, он объяснял им, что их ждет за нападение на сержанта. Речь, естественно, шла о трибунале и дисбате. Вид у мстителей был довольно жалкий. Все знали, что с Ширалиевым шутки плохи, и если он даст ход этому делу… Но майор внушением и ограничился. Никто не был наказан. Оно и понятно — если бы дело дошло до трибунала и получило огласку, то все три майора — Загоруев, Ширалиев и Мурзинцев — имели бы большие неприятности. Что за порядки в батальоне? Где воспитательная работа?

Однако история не осталась без последствий, и последствий своеобразных. В батальоне был некомплект сержантов. И после этого бунта сразу несколько человек получили лычки. Большинство были украинцами. Считалось, что из них получаются старательные и жесткие командиры. В этом был резон. Толя Физер, помкомвзвода одного из взводов нашей роты, был отличным сержантом — с хорошей выправкой и умением держать в руках подчиненных. Что с наличным контингентом было совсем не просто. Я испытал это на собственной шкуре, когда через несколько месяцев оказался на той же должности. Правда, в моей ситуации были привходящие обстоятельства.

Иногда выбор казался на первый взгляд странным. Был у нас парень с Западной Украины по фамилии Шкиндер. Его отличала какая-то разболтанная, вихляющая походка. Над ним подшучивали, говоря, что у него лишний сустав. Но, получив лычки, он преобразился, подтянулся. Рядовой Шкиндер и младший сержант Шкиндер оказались разными персонажами.

Смысл всей этой акции был понятен. В случае с Максимкой начштаба легко подавил попытку самодеятельно установить справедливость. Но могли возникнуть и более сложные положения. Особенно если учесть автономность существования батальона. И тут спаянная и полностью укомплектованная сержантская корпорация должна была сыграть свою роль…

По тону писем читатель, я полагаю, уже понял, какая существенная трансформация — прежде всего

психологическая, хотя и физическая тоже — произошла с героем этого мемуара. Я полностью вжился в армейский быт. Этому в значительной степени способствовала алзамайская жизнь. Но и вообще я мало-помалу почувствовал вкус и смысл службы. И оставшиеся полтора года меня уже не смущали. Мне было интересно — как сложится дальше моя армейская судьба. Тем более что я не сомневался — предстоит строевая должность. Хотелось попробовать себя в этом качестве.

Казалось бы, нелепое для интеллигентного юноши честолюбие. Но — Ницше, но — Джек Лондон… Книжный мир и книжная психология никуда не ушли. Изменился жизненный материал, а на этот материал накладывались органичные для нашего персонажа представления. Сюжет выстраивался довольно парадоксальный, но прочный.

В отпуск я уехал в начале апреля и прибыл на Московский вокзал рано утром 1 мая 1956 года. Очень удачный вариант. Мало того что начинался яркий солнечный день, по случаю праздника из всех вокзальных и уличных репродукторов гремела музыка. Ленинград торжественно встречал своего блудного сына…

Разумеется, родители, бабушка, брат были счастливы меня видеть живого, невредимого и, судя по фотографиям, которые сделал в те дни папа, довольно бравого. И я был рад видеть их.

Но я с трудом осознавал себя в этом мире. Просыпаясь утром в своей кровати, я не сразу соображал — где я нахожусь. Я повидался с несколькими своими приятелями. Школьный другу меня был, собственно, один — Боря Иовлев. У него были замечательные родители — Зоя Андреевна и Вениамин Иванович. Я их, конечно же, навестил. Боря учился в медицинском институте. Еще один из нашей троицы предармейского лета — Юра Романов, «Цфасман», угодил-таки в армию, хотя в отличие от меня отнюдь туда не стремился, и служил в железнодорожных войсках.

Мои рассказы, думаю, были внятны одному Вениамину Ивановичу. Он-то знал, что такое армия. Профессиональный шофер, водитель грузовика, он прошел, вернее проехал, всю войну. Через десять лет после демобилизации он все еще носил темно-зеленую диагоналевую гимнастерку. Жили они бедно, но достойно.

За время моего отпуска случилось два эпизода, один из которых мог мне дорого обойтись.

Была у меня пересадка в Свердловске, с перерывом на ночь. Спал я, естественно, на вокзальной скамье. Утром, когда меня разбудили, я увидел над собой сурового, чтобы не сказать злобного, офицера и двух солдат с нарукавными повязками. Патруль… Я вскочил, кое-как застегнулся и предъявил свое отпускное свидетельство. Офицер — не помню звания — проверил и тут же на обороте моего документа написал: «Задержан за неряшливый вид». Какой, спрашивается, мог быть у меня вид после ночи на скамейке? «Задержан» — это была условная формула. Они пошли дальше.

Второй эпизод произошел в день моего торжественного въезда в Ленинград. После радостной встречи со своим семейством я переоделся в гражданское и отправился на Садовую в комендатуру — отметить свое отпускное. В соответствующем окошке сидел аккуратный важный

солдатик. Я протянул ему документ. Посмотрел на меня, чуть высунувшись из своего окошка, положил мое отпускное свидетельство на стол и сказал: «Явитесь к дежурному помощнику коменданта».

Никто меня не предупредил, что я и в отпуске должен ходить исключительно в форме! И ни в каком уставе я этого тоже не встречал.

Я помчался домой, переоделся и снова явился в комендатуру. У двери с табличкой «Дежурный помощник коменданта» никого не было. Можно представить себе мою панику — славно будет, если я свой отпуск проведу на гауптвахте!

Помощник коменданта, молодой капитан, которому я отрапортовал как положено, молча взял мою отпускную, лежавшую у него на столе, и написал на обороте под фразой свердловского коллеги: «Задержан за ношение гражданской одежды». И протянул мне. Я сказал: «Разрешите идти, товарищ капитан?» — не веря в свое счастье. Он усмехнулся и кивнул. И я ушел.

Вот ведь — есть же на свете справедливые и понимающие люди! Когда я вернулся в часть и отдал Ширалиеву документ, он сунул его в какую-то папку, совершенно не поинтересовавшись оборотом.

Был в моей отпускной ситуации еще один немаловажный аспект. Ширалиев добавил к законному отпуску в 10 дней — не считая дороги — еще 4 дня своей властью. В этом был смысл. Его жена мечтала приобрести модные тогда туфли, называвшиеся почему-то «танкетки». И мне было дано задание — приобрести в Ленинграде эти танкетки, поскольку ни в Алзамае, ни в близлежащих городках ничего подобного не продавалось. Поскольку дама весьма приблизительно описала эту обувь, то я и привез нечто иное. Приобретенное, естественно, за счет родителей. Отпускные мои были невелики. Да еще надо было купить, как известно, журнал мод для красавицы Марины и чем-то ублажить самого майора.

Марина была счастлива. Майору я вручи «палку» дорогой твердокопченой колбасы и бутылку хорошего коньяка. Его это вполне удовлетворило. А вот майорша была страшно недовольна и произнесла замечательную фразу: «Так я и знала, что зря съездит!»

«Ах, ты… — подумал я. — Человек дома побывал, а для тебя „зря съездил!"». При этом я получил уточненное описание танкеток и пообещал, что напишу родителям.

Как я уже писал, «финансовое положение» нашего семейства было отнюдь не блестящим.

При этом, пока я не стал получать свои ефрейторские, а затем сержантские, родители посылали мне, несмотря на мои протесты, небольшие деньги, а иногда и посылки. И вот теперь приходилось тратиться на эти танкетки… Но что поделаешь? То есть отношение ко мне майора наверняка не изменилось бы и без танкеток, но было как-то неловко. Жена у него дама суровая, и ему бы от нее досталось.

В часть я вернулся к 20 мая. Была уже полноценная весна, тепло, птицы в тайге шумели. Но мне сразу же сказали — не начальство! — что нас скоро куда-то перебрасывают.

Новость, конечно, огорчительная. Нигде так замечательно не служилось, как в алзамайской тайге. Правда, было такое чувство — впервые, что это и не совсем служба. А мне все же хотелось службы. Кроме того, опять-таки появилось предвкушение новых впечатлений. Так что чувства были смешанные. Еще через пару дней стало известно, что мы отправляемся на Запад — в сторону Иркутска, на неведомую станцию Белая…

26.V.1956. «Привет, дорогие. Прежде всего простите за карандаш, но я пишу в вагоне, в теплушке. Отправляемся на Белую. Уезжаем-таки из несравненного Алзамая нашего. Не хотелось отсюда ехать, да что поделаешь. Погуляли напоследок, навестили разных дам, распрощались и уезжаем. А жаль! Едем товарняком, но устроен я очень неплохо. Отдельный вагончик. Половина занята имуществом роты, а в другой половине ротный командир, зам. по техчасти, старшина и еще двое. Свободно, да и общество изысканное. „Жизнь моя отравлена тобою..." и т.д.».

Тут требуется пояснение. Я уже упоминал нашего старшину Володю Калмыкова из Сталинграда. Мы приятельствовали, он служил третий год, прошел — в отличие от меня — до конца хорошую «учебку», судя по его рассказам, весьма жесткую. Но не в нашем учебном стрелковом, а где-то в другой части. В значительной степени на нем держалась дисциплина в роте. Был он невысок, не очень складный, но чрезвычайно собранный и динамичный. На лице постоянно выражение строгой настороженности.

Что же касается стихотворной строчки, то это первая строка трогательной песни, которую пел один из тех двух, что ехали с нами. Небольшой пригожий сибирский паренек. Не то чтобы мы были друзьями, но добрыми приятелями. Он научил меня этой замечательной песне.

Жизнь моя отравлена тобою,
Я в тебя влюбленный всей душою,
Перед женским обликом, под твоим окошечком,
Напевая, «Горе!»—говорю я.
Каким ты меня ядом отравила,
Любовь-тоску во мне воспламенила,
Даже ручки нежные и глаза прелестные,
Огненные, пламенные губы! <...>
Все друзья смеются надо мною,
Разлучить хотят меня с тобою.
Будь же ты уверена
В искренней любви моей.
Жизнь моя отравлена тобою!

Это только часть песни. В дороге он эту песню пел под гитару, развлекая нашу маленькую компанию, оттого я ее и цитировал.

«Доехал я прекрасно, но эти 6 дней с 20-го по сегодня жил галопом. Первые два дня провел, правда, как на даче, на квартале у Луцкого. Ел, спал. Он хорошо играет на мандолине. Масленица. Сосновый воздух круглые сутки. Но квартал за 25 км от части, и отправить оттуда письмо было невозможно. Затем взвод вызвали сюда, и пошла катавасия. Подготовка к отъезду.

Я здоров, сыт, обут, одет. Правда, не как лондонский денди, но все же... Насчет танкеток вот что: то, что вы считаете танкетками, это не танкетки. Настоящие танкетки все на коже. И дорогие. Подробное описание отправлю с Белой. Как приеду—сразу напишу. Как только сообщу сразу же пишите. Эти две недели, ленинградские, вспоминаются как волшебный сон. Очень вам благодарен, дети. Приехал я вовремя. А о том, что ехал хорошо, свидетельствует хотя бы то, что по пути я, нашла какая-то блажь, стал стихи писать. Процитирую одно, несерьезное».

И дальше идет длинная пародия на пародию же Козьмы Пруткова «Желанье быть испанцем». Вирши довольно умелые и ловко срифмованные. Но, судя по всему, были там и «серьезные» стихи. Начисто их забыл.

О последнем полугодии службы, которая проходила в районе станции Белая, писать мне сложнее, поскольку от этого периода сохранилось почему-то только два письма. Конечно, я писал в это время гораздо реже, чем прежде, но ведь не настолько же! Придется полагаться на свою память.

Набрал я в Интернете «станция Белая Иркутской области»

и получил: «Белая — военный аэродром в Иркутской области, расположенный в 18 км к северо-западу от города Усолье-Сибирское и в 85 км к северо-западу от Иркутска. <…> На аэродроме в период с 18 февраля 1947 года по 1984 год базировался 350-й истребительный авиационный полк (с 1950 года 350-й истребительный полк ПВО)».

Но нашел я и другие сведения: «В начале 1950-х годов в гарнизоне произошел судьбоносный поворот. Его предопределило географическое положение. На вооружение армии поступило атомное оружие, единственным носителем которого мог быть тяжелый бомбардировщик Ту-4.

Одним из базовых аэродромов стратегической авиации командование ВВС страны назвало Северный. (Название аэродрома возле станции Белой.—*Я. Г.)* Фактически его предстояло построить заново. С 1951 по 1955 год полным ходом шло строительство <…>. С 1954 по 1955 год с интервалом в один год там были сформированы два тяжелых бомбардировочных полка…»

Все верно. Я и помню, что наш кочующий полк расположился в пяти километрах от аэродрома именно тяжелых бомбардировщиков и в двух километрах от станции Белая. Откуда эти точные подсчеты, читателю в свое время станет ясно.

Вообще история нашего инженерно-саперного полка весьма парадоксальна. Первые девять месяцев своего существования полк работал исключительно на себя. Формирование, передислокация из Цугуловского Дацана на 77-й разъезд, строительство военного городка на две с лишним тысячи человек и офицерских коттеджей. А затем, когда городок был построен, полк стали перебрасывать с места на место. И что стало с нашими казармами? В конце концов мы оказались в районе Белой среди березовых рощ. Да, лес там был исключительно березовый. Очевидно, поэтому летом не было ни гнуса, ни комаров. Редкое везение.

На этот раз полк выбросили в чисто поле в буквальном смысле. Это была огромная поляна, обрамленная березовыми рощами. Место более уютное, чем монгольская степь, но мы не знали, будем ли снова строить себе городок или с наступлением холодов нас вернут на 77-й разъезд. Пока что был установлен палаточный лагерь, поставили фонари на передней линейке, благо недалеко проходила линия электропередачи, быстро построили деревянное здание полкового штаба. И — к нашему удивлению — возле станции начали строить домики для офицеров. Это казалось очень

странным — если негде жить зимой личному составу, то за каким чертом нужен офицерский поселок? На этот вопрос ответ так и не был дан.

Прежде чем развивать сюжет, приведу письмо, которое я получил через месяц после нашего водворения возле Белой от Юры Рыбина. Его демобилизовали в начале июня. Причины, насколько я помню, — среднее техническое образование и наличие семьи. Армию сокращали и таким способом.

Письмо это — важный документ. Оно дает представление о взаимоотношениях в нашем дружеском кругу.

28.VI.1956. «Здравствуйте, Яша, Станислав Николаевич, Сергей Аникеевич и Толик! *(Станислав Николаевич — это Стась Луцкий, Сергей Аникеевич — Сережа Мороз, командиры взводов, а Толик — сержант Толя Физер.*—Я. Г.) Пишет вам сие послание ваш бывший сожитель, ныне уволенный из ваших рядов, о чем особенно не сожалеющий.

Яшенька, как ты там поживаешь, наверное, доволен теперь, что никто тебе не надоедает денно и нощно: „Быстрее рапорт!" Ведь ты теперь сам только даешь руководящую линию. *(Имеется в виду, что я был назначен старшим нормировщиком батальона. Юра не знал, что я уже перешел на строевую должность.*—Я. Г.) Что произошло нового, особенно меня интересует дело Станислава: уехал ли он, ведь не дай боже задержат. *(Имеются в виду уже мной описанные свадебные планы Стася и его возможное увольнение по этой причине. Юра не зря беспокоился. Когда я увольнялся, Стась еще оставался служить.*—Я. Г.) Что нового произошло в роте, поздравляю тебя с избранием секретарем комсомольской организации. Чует мое сердце, что так оно и вышло. *(Чутье Юру не подвело — меня переизбрали.*—Я. Г.)

Что нового слышно о судьбе части, какие предположения?

Пиши, Яша, все подробно, потому что меня все это очень интересует. Доехал я хорошо, встретили прекрасно, выпили на радостях, и вот теперь отдыхаю от трудов праведных, вчера ходил на Селенгу, купался и удил рыбу и, представь себе, немного поймал, хотя, по твоим словам, я удочку не знаю брать за какой конец.

Вот такие дела. Яшенька, ты бы знал, какую трогательную сцену устроил мне Мурзинцев при прощании: ведь он увез меня на своей машине и чуть не лил слезы. Надеюсь, Яша, что ты незамедлительно мне напишешь. Яша, деньги тебе выслал 25 числа, спасибо тебе за выручку.

Привет тебе от Нины и Оленьки. *(Жена и дочь Юры.* —Я. Г.) Передай от меня привет всем знакомым и персонально Давыдову,

Шаньшарову, Ускову, Размахнину, Жаркому, Щербине, Левке, Мурзинцеву, Громок.

Пиши мне на жену: БМАССР, с. Н. Селенгинск, Детский сад. Рыбиной Нине Андр.

С приветом Юрий».

Я ему, конечно, написал незамедлительно. О судьбе части ходили самые разные слухи. В том числе, как я уже говорил, о переброске куда-то на Север. То ли на Чукотку, то ли неизвестно куда. Север большой, а мы уже привыкли к самым неожиданным поворотам судьбы. Письмо, как видим, трогательное. Мы действительно дружили. И Юру действительно искренне интересовала наша жизнь. Ну, Левка — это Сизов, батальонный писарь, который не раз упоминался. Давыдов — наш новый ротный, кавалерист, тоже читателю знаком. Мурзинцев — понятно, гвардии майор, замполит батальона, а Шаньшаров еще возникнет в весьма нетривиальной ситуации.

Остальных, честно говоря, помню смутно…

Письмо это я отослал вместе со своим в Ленинград, и оно, к счастью, сохранилось.

Юра дважды приезжал в отпуск в Ленинград в начале шестидесятых.

Но приезжал он летом, а я в это время был в экспедиции. Свой адрес он моим родителям не оставил. Так мы друг друга и потеряли. А на детский сад я отчего-то не написал.

Жив ли Юра? Он был всего на год меня старше…

Отсутствие писем очень мне мешает. Плавного и цельного рассказа не получается. Придется вспоминать некие ключевые сюжеты этого последнего — и очень важного — полугодия службы. Снова — службы.

Командир 1-го взвода Миша Чигвинцев уговорил-таки начштаба , и в один из прекрасных июльских дней 1956 года Ширалиев сказал мне: «Приготовь погоны. Завтра будет присвоение званий». Я уже несколько недель был командиром отделения и как командир 1-го отделения выполнял обязанности помкомвзвода.

Чигвинцев с удовольствием перевалил на меня большую часть своих обязанностей. Я должен был поднимать взвод утром, выводить на физзарядку, водить на строительство офицерского городка, а главное, поддерживать на должном уровне дисциплину. А мой комвзвода спал сколько хотел и морально готовился к демобилизации.

Когда я сообщил родителям, что намерен изменить характер своей службы, они отнеслись к этим планам с

сомнением. Мама просила меня хорошенько подумать. Я, конечно, понимал, что новая должность будет гораздо хлопотней прежней, что привольное житье закончится. Но меня не оставляла честолюбивая мечта о сержантских лычках. Зря, что ли, прошел хотемкинскую школу? Однако насколько все будет сложно, я не понимал.

Сложности эти начались довольно быстро и неожиданно. Один из моих приятелей, тот, что научил меня двум замечательным песням — «Жизнь моя отравлена тобою...», которую я цитировал, и «Скоро-скоро быстрые олени унесут в неведомую даль...», которую не цитировал, — через несколько дней после моего вступления в должность подошел ко мне и сказал: «Все, что между нами было, забудь. Ты теперь начальник». Я попытался его урезонить, но он только покрутил головой и отошел. С другим моим полуприятелем, упомянутым в письме Юры Рыбина Шаньшаровым, произошла и вовсе меня поразившая история. Шаньшаров — имя его, к сожалению, не помню, — был вполне интеллигентный юноша из Ангарска. Мы с ним иногда беседовали, он мне показывал фотографию своей девушки — очень даже миловидной. Но опять-таки вскоре после перемены моего, так сказать, статуса, проходя мимо и глядя на меня с ненавистью, Шаньшаров прошипел сквозь зубы: «Ходят тут суки с блядскими глазами...» Я не сразу понял, что это означает, и не успел ему ответить. Но когда через некоторое время сцена повторилась, то я его остановил и сказал: «Если я еще раз это услышу, то при всех набью тебе морду!»

Шаньшаров наблюдал мои боксерские забавы, речь о которых впереди, и воспринял предупреждение всерьез. И правильно сделал. Впредь он ограничивался презрительными взглядами.

Удивительное дело — ни тот ни другой не сидели. Но уголовная этика на удивление прочно захватывала сознание самых разных людей.

Вчера ты был свой, а сегодня, сука, стал начальником...

Так вот, о присвоении званий, что было существенно. Я не только стал начальником, но при этом оставался рядовым. И это делало ситуацию несколько двусмысленной.

На следующий день после предупреждения начштаба прошло собрание полкового актива, на котором и должны были состояться награждение отличившихся и присвоение званий.

Полковой актив, чтоб было понятно, — это офицеры,

замполиты, комсомольские работники и разного рода отличники боевой и политической подготовки, а в нашем случае — саперы, отличившиеся при выполнении главной задачи, для которой, как выяснилось, полк и был переброшен под Белую. Задача эта состояла в срочном строительстве семикилометровой бетонной дороги от станции до аэродрома тяжелых бомбардировщиков. Объект вполне стратегический. До этого времени, как ни странно, единственной коммуникацией, связывающей Восточно-Сибирскую железную дорогу, то бишь Транссибирскую магистраль, с расположением авиаполков, была грунтовка, весной и осенью становившаяся труднопроходимой даже для военных грузовиков. Поскольку, как я уже писал, именно в 1954 и 1955 годах на авиабазе Белая формировались полки тяжелых бомбардировщиков, носителей атомных бомб, то задача, поставленная перед нами, была более чем своевременна…

Итак, собрание полкового актива. Происходило оно в воскресенье на открытом воздухе. Если стоять спиной к передней линейке нашего лагеря, то в правом конце поляны была сооружена большая сцена, а перед ней длинные скамейки на вкопанных в землю ногах, — думаю, сотни на две-три мест.

На сцене стоял стол. На столе были разложены грамоты и нагрудные знаки. Находились на сцене — командир полка полковник Коротченко, начальник штаба полка, пожилой, как мне помнится, тяжелый медлительный полковник в очках и еще какие-то офицеры. Очевидно, замполит полка, которого вспомнить не могу.

На сцену вызывали по одному. Сперва награждали за доблестный труд. Помню, что долговязый узбек Худайбердиев получил нагрудный знак «Отличный сапер». Мне больно было смотреть, как все эти ребята не могли толком пройти по сцене, не умели рассчитать длину шага, чтобы оказаться на соответствующем расстоянии от командира полка в тот момент, когда нужно было приставить левую ногу. Нас в в/ч 11106 на это специально натаскивали, поскольку мы каждый день перед отбоем должны были докладывать своему помкомвзвода: «Боевое и вещевое в порядке!» И проделывать эту на первый взгляд несложную операцию нужно было точно и четко. Если ты не мог рассчитать расстояние, то повторял этот подход, пока не доводил его до совершенства.

Не могли они и сделать положенный поворот кругом, получив свою награду.

После награждений начался процесс присвоения званий, и я предвкушал, как я выйду и продемонстрирую свою строевую выправку. Но присвоения закончились, а меня на сцену так и не вызвали. Ясно, что Коротченко меня из списков вычеркнул.

Почему он сопротивлялся присвоению мне высокого звания младшего сержанта, о котором ходатайствовало командование батальона, — загадка.

У меня были — и остались — два предположения. То ли полковник считал, что на батальон достаточно двух сержантов-евреев (а таковые уже имелись), то ли моя внешность не соответствовала его представлениям о младшем комсоставе.

Действительно, особой брутальности во мне не было. Хотя внушительная внешность не всегда соответствовала необходимым для младшего комсостава качествам. Командир 2-го отделения младший сержант Дрозд, которого я уже упоминал, был здоровый парень за метр восемьдесят, но какой-то заторможенный. Он служил третий год, но дальше младшего сержанта не продвинулся. И толку от него было мало.

Несколько недель до начала строительства бетонки наш взвод занимался рытьем траншей для фундаментов офицерских домиков возле станции, командир полка регулярно объезжал все строительные объекты, в том числе посещал и нас. Я ему каждый раз докладывал по всей форме и неизменно заканчивал словами: «Исполняющий обязанности помощника командира взвода *рядовой* Гордин», подчеркивая слово «рядовой». Полковник благосклонно принимал рапорт, козырял в ответ на мое приветствие и жал мне руку. То, что обязанности помкомвзвода исполняет рядовой, а не старший сержант или, на худой конец, сержант, его, казалось, не удивляло. Хотя не понимать странности ситуации он не мог.

Вернувшись в расположение взвода после торжественного мероприятия, я злобно запихнул свои погоны с лычками в вещмешок.

Ширалиев, которого я встретил в тот же день, был несколько смущен. Что и понятно — полковник поставил его в нелепое положение. Он хмуро сказал мне что-то вроде: «Служи спокойно. Получишь свои лычки». Я и служил, но должен признаться, что этот эпизод весьма чувствительно задел мое самолюбие. Я уже привык, что командование на уровне батальона относилось ко мне доброжелательно, могу

даже сказать, с некоторым уважением.

Сейчас все это выглядит забавно — где ницшеанство, а где сержантские лычки? Но тогда именно достижение этой изначальной цели символизировало для меня успех эксперимента — обитатель книжного мира, следуя заветам Джека Лондона (см., например, «Морского волка»), попав в суровый, реальный мужской мир, не пропал в нем, а стал наравне с реальностью.

Летом 1956 года я уже этими категориями не мыслил. Я просто жил этой жизнью. А что до травмы, которую я получил с легкой руки полковника Коротченко, то она причудливо отразилась в одном из двух писем, сохранившихся от этого периода.

25.VIII.1956. «Привет, дорогие. Получил ваше письмо от 18.VIII. То, что я ваш родной сын, это, конечно, факт неопровержимый, сомнений в том нет, но волноваться все- таки не нужно.

Что же касается моих будущих детишек, то навряд ли у меня будут оные, так что изведать тревоги отцовского сердца ввиду отсутствия писем от вышеозначенных детишек мне не суждено. <...> Читаю. Проник в полковую библиотеку. Прочел Гаршина. Можно сказать, впервые прочел толстовское „Воскресение". Я его, правда, читал давно. Все хорошо, за некоторыми исключениями. Но одно меня странно удивляет: откуда у него, такого умницы, какой- то умильный взгляд на людей и людишек. Зачем делает он всякую сволочь праведниками и заселяет каторгу умными, добродетельными страдальцами? К чему? Мало того, что это само по себе абсурд, это и у него никак не оправдано. Я бы в это с трудом поверил раньше, но теперь хоть режьте, не поверю. В нашем полку 70% бывших осужденных. Почти весь призыв 55-го года—амнистированные. В нашей роте их было два—один переселился в дисциплинарный батальон на 2 года, другой — в Читинскую тюрьму на 5 лет. 1-й батальон, состоящий сплошь из этих типов, — каторга в миниатюре. Матка бозка! Что это за сволочь, что за дегенераты. Мы рядом живем. Я на них налюбовался. Вряд ли другой за 10 лет увидит столько мрази, сколько я за год. Какой же он был слепой идеалист, если, зная, и неплохо зная, людей, о которых писал, он мог так их идеализировать».

Читаю это письмо и поражаюсь — что за чушь я писал! Разумеется, никаких 70% уголовников в полку не было. Но и 20% вполне хватало, чтобы придать нашей части своеобразный колорит и держать офицеров в некотором напряжении. Хотя, надо сказать, в нашем полку — в отличие,

например, от отдельных автобатов, обслуживающих авиацию, — криминальные происшествия были крайне редкими. Даже и самоволок в сколько-нибудь значительном числе не наблюдалось. Главным самовольщиком был армянин Макарьянц, умевший заводить любовные интриги даже на 77-м разъезде, притом что мы, как помним, стояли от него в семи километрах. Он ухитрялся за ночь сбегать к своей даме — представляю этих дам! — и вернуться обратно в расположение части к подъему.

Окружающая полк криминальная атмосфера в дальнейшем сыграла роль и в моей служебной практике.

Отчего меня так занесло в этом письме? Откуда такое раздражение и фантазии? Думаю, что это отголосок моей досады по поводу афронта, полученного от комполка. И, вполне возможно, сыграли свою роль напряженные на первом этапе отношения с подчиненными, вчерашними товарищами.

В том же письме: *«Я взял в библиотеке „Анти-Дюринг", перечитываю с удовольствием».* Под влиянием учителя истории Якова Соломоновича Вайсберга, фронтовика, морского офицера, — он долго носил свой китель, а через лысую голову шел глубокий шрам от тяжелого ранения, — мы с моим школьным другом Борей Иовлевым заинтересовались марксизмом. Я внимательно читал воспоминания о Марксе и его биографию. Каким-то образом это сочеталось с Ницше и ницшеанцами вроде д'Аннунцио и Гамсуна. Очевидно, Маркс представлялся сильной личностью. Каковой, впрочем, он и был. А Энгельс в письмах и «Анти-Дюринге» был остроумным и обаятельным.

«Готовиться я обязательно буду *(К поступлению в университет.* — Я. Г.), и ничем экзамены на чин мне не помешают. Кстати, сейчас сдает эти экзамены 53-й год призыва.

Говорят — ничего сложного. Короче говоря, следующий Новый год, не этот, а следующий, мы встретим вместе».

В это время я стал относительно регулярно заниматься боксом. Разумеется, это были вполне любительские дела. Я мечтал о боксе со школьных лет. В восьмом классе я пришел во Дворец пионеров и попытался записаться в секцию бокса. Меня не взяли, сказали — поздно начинать. Бокс тоже, конечно, от Лондона прежде всего. То, как он писал о боксе, мог писать только человек, сам попробовавший это гипнотизирующее занятие: «Игра», «Лютый зверь», «Кусок мяса», «Лунная долина» и великий «Мексиканец». Сильным боксером был Мартин Иден. Я много читал о боксе перед

армией. Читал и перечитывал книгу доктора Непомнящего «Боксеры и бокс за рубежом», которую взял в той же библиотеке Дома книги. Когда попытался ее получить после армии, выяснилось, что кто-то ее не вернул. Знал бы, сам бы так поступил…

Константин Иванович Непомнящий был спортивным врачом. Именно ему удалось в конце двадцатых годов убедить советское руководство не запрещать бокс как буржуазный вид спорта. В репортажах о боях в Америке, которые приводит Непомнящий, фигурировал и Джек Лондон как зритель и друг боксеров.

Джек Лондон был постоянным персонажем нашей переписки с братом, интеллектуалом-отличником, окончившим школу с золотой медалью, которого я пытался обратить в свою сурово-спортивную веру.

В письме от 9 августа 1956 года он писал: «Тебя удивляет, что я обратился к тебе, как к одному из советчиков в книжном вопросе. Во-первых, потому, что ты довольно много читал и знаешь, хотя примерно, какие книги можно достать,—я, кстати, собираюсь ходить в библиотеку Дома книги, во-вторых, мне интересно прочесть пусть не все, те книги, которые читал ты, в-третьих, тебе хорошо известно содержание нашего шкафа, в-четвертых, чем больше книг я прочту, тем лучше, а для того, чтоб прочесть, надо знать названия, и чем больше, тем лучше».

Как всегда, мой четырнадцатилетний братец не удержался от иронии: *«Может, ты прочел что-нибудь интересное, найденное в тайге».*

А дальше начинался традиционный лондоновский сюжет.

«Тебя, наверно, не устроят мои писания насчет „Идена" <…>. Иден забрался слишком высоко, слишком, разумеется, с точки зрения пользы для его здоровья, и рассмотрев мир, так сказать, с головы до ног и не увидев ничего хорошего и увидев очень много плохого, счел за благо утопиться. Вот в том, есть ли это выход, в том, можно ли переделать мир так, чтобы он был подходящ для Идена и ему подобных, и заключается вопрос, на который я хочу найти ответ. Думаю, что в этом вопросе Лондон был не согласен с Иденом, судя по его статьям (которые помещены в собрании сочинений), по другим его романам, которые я читал, и в частности по „Майклу, брату Джерри" <…>. Я прочел „Лунную долину" и „Лютого зверя". Это, в особенности последнее, конечно, слабее „Идена". Теперь из того, что имеется в этом собрании сочинений, мне надо прочесть „Маленькую хозяйку" и „Морского волка", но я его очень хорошо помню с тех пор, как ты читал его маме. *(Стало быть, в своем увлечении я еще*

и нашу маму, которой все это было чуждо, мучил чтением вслух наиболее жестокого романа Лондона.—Я. Г.)

Ну, пора кончать. Боюсь, что такое длинное письмо займет у тебя столько времени, что его не хватит для выполнения служебных обязанностей, и потому, чтобы не портить твою блестящую карьеру, я кончаю.

Майкл, брат Джека (но не Джерри)».

Ни мой личный опыт, ни проповедь Джека Лондона не произвели особого впечатления на моего брата. Недаром он обозначил как наиболее слабую очень выразительную и профессиональную «боксерскую» повесть Лондона, которую я любил и ценил.

Читавший много и с толком — отнюдь не только по моим рекомендациям, — он, в отличие от меня, не пытался реализовать книжные миражи и выстраивать жизнь в соответствии с ними («синдром Мартина Идена»). Повзрослев, он поступал исключительно по своим внутренним побуждениям.

Уже после армии, в университетские времена и позже, я собирал профессиональную литературу о боксе. Так и стоят у меня на полке книги незаурядных наших боксеров Градополова и Огуренкова.

Я стал заниматься боксом всерьез сразу после поступления на филфак Ленинградского университета. Бокс не входил в академическую программу — в академические часы я занимался самбо, — но существовала, тем не менее, сильная секция бокса, работавшая вечерами. Уж не знаю, каких высот достиг бы я в спорте, но судьба распорядилась иначе. После тяжелой травмы на тренировке — по причине собственного легкомыслия и ошибки тренера, переоценившего мои возможности, — мне пришлось бросить и бокс, и самбо.

В нашем полку спорт поощрялся, была своя футбольная команда — любимцы полковника Коротченко, занимавшиеся исключительно тренировками. А бокс воспринимался как воскресное развлечение. Был, правда, и — условно говоря — тренер, азербайджанец Алик. Боксом он и в самом деле на гражданке занимался, но класс его был невысок. Он главным образом демонстрировал (и нас этому учил) длинные размашистые боковые удары, свинги, по классической терминологии.

У меня был своеобразный боксерский опыт—я несколько раз смотрел американский фильм «Восьмой раунд» с красавцем Робертом Тэйлором в роли талантливого боксера

Томми Маккоя. Прекрасно физически развитый и явно тренировавшийся Тэйлор выглядел в этом качестве весьма убедительно и заразительно. Особенно эффектно он демонстрировал нырки —уход под удар противника. Мне удавалось этот киноопыт реализовать. Что давало мне преимущество перед часто более мощными, но совершенно, так сказать, неграмотными противниками.

С этими боксерскими делами связан был один характерный эпизод.

В первом составе моего взвода был ленинградец Ромашов — мощная фигура, широкие скулы, маленькие глаза. Он говорил, что жена у него врач, а работал он на гражданке в каменоломнях, камень кувалдой дробил. Вполне похоже. При этом, по некоторым признакам, уголовный кодекс его не обошел.

А в соседней роте служил узбек — фамилию забыл, — высокий, я бы сказал, элегантный даже в солдатской форме, идеально правильные черты и умные глаза. Есть в Средней Азии такая аристократическая порода.

Однажды Ромашов — в воскресенье — пришел в расположение взвода сильно потрепанный и заметно утомленный. На мой удивленный взгляд нехотя сказал: «Силен зверь! Еле уломал».

Оказалось, что у него был поединок с красавцем-узбеком. Дело не в том, победил он или не победил, вполне возможно, что и победил, но другого слова для определения своего противника он не нашел. «Зверь» — так частенько называли наших среднеазиатов. Кто из этих двоих более походил на зверя, догадаться нетрудно...

В это время мне пришлось основательно вспомнить, чему меня учили в в/ч 01106. Нашего тогдашнего ротного, капитана-фронтовика (Давыдов пришел позже) раздражала расхлябанность салаг из пополнения осени 1955 года, их полная строевая неграмотность, — где они проходили курс молодого бойца? — и он поручил мне их подтянуть. И по воскресеньям я некоторое время, к неудовольствию ребят, занимался с ними по два часа строевой подготовкой. В конце концов мы одолели даже повороты в движении.

Не думаю, что это прибавило симпатии ко мне. Они искренне — и правильно! — не понимали: на кой черт им нужна эта шагистика? Для успешного выполнения, скажем, земляных работ? В этом и был парадокс нашего существования — строевая часть, которую используют как стройбат.

Лычки я, между тем, получил — без всякой торжественности и публичности. Недели через две-три после того мероприятия Ширалиев сказал: «Нашивай лычки. Приказ подписан».

Служба моя шла плотно и разнообразно. В полку был явный кадровый голод. И я, пользующийся доверием батальонного начальства, выполнял время от времени офицерские функции. Так, единожды я был назначен начальником полкового караула. Личный состав караула состоял из солдат нашей роты. В наши обязанности входила охрана не только объектов собственно нашего полка, но и гарнизонной гауптвахты, находящейся довольно далеко от расположения части. Думаю, около километра. Дежурство прошло без происшествий, но одну важную ошибку я совершил. Подчиненные мои одеты были в шинели, а я почему-то щеголял в гимнастерке, соответственно, при полевой сумке и пистолете ТТ.

После окончания дежурства майор Мурзинцев мягко указал мне на это несоответствие уставу — весь караул, включая начальника, должен быть одет единообразно.

В последнем из сохранившихся — сентябрьском — письме я об этом рассказал с некоторыми подробностями. «Три дня как стоят чудесные погоды. А до этой поры ужас, что творилось, и дождь был, и снег, и град. Все, что душе угодно, и даже больше того. Здешние березовые рощи уже совсем почти облетели, лишь кое-где среди серых ветвей тускложелтая стайка не опавших листьев. Но очень редко. Были страшные ветры. Я недавно ходил в караул, первый и, надеюсь, последний раз за свою карьеру—начальником караула по части. Караульное помещение — палатка. И ветер был такой, что помещение наше сорвало и чуть нас всех не унесло в Изумрудный город или к волшебнице Дальнего Запада».

Прочитав этот пассаж, я вспомнил, что за свою дурь относительно гимнастерки я был наказан — зверски замерз ночью. Ребята притащили откуда-то алюминиевую миску, я сжег в ней какие-то деревяшки и грелся в свободные минуты над этой жаровней.

С гауптвахтой связано одно из самых выразительных моих воспоминаний этого полугодия.

Криминальная ситуация в соседних частях и особенно, как я уже писал, в автобатах была такова, что в гарнизоне фактически постоянно работала выездная сессия трибунала. То ли из Иркутска, то ли из Ангарска. Не буду врать, не помню. И меня в знак особого доверия назначили на временную и какую-то полуофициальную должность —

старшим конвоя. У меня было пятеро конвойных из моего взвода. Я и один из конвойных должны были водить подследственных и подсудимых с гауптвахты, где их содержали, в штаб одной из частей, где заседал трибунал. А также охранять само заседание. Ну и, соответственно, уводить арестанта обратно.

Длилась эта служба — параллельно с основной — месяца полтора, а может быть, месяц. Опыт, конечно, интересный, но ребята, которых приходилось конвоировать, очень уж несимпатичные. И я думаю, что августовское письмо о 70% уголовников в полку по времени совпадало с этим эпизодом в моей карьере и было отчасти им навеяно. И взвинченность, которая в нем ощутима, возможно, соответствовала нервности моего тогдашнего состояния. Каждый поход с арестованным с гауптвахты в трибунал и обратно — особенно обратно, в темноте, как правило,—требовал непривычного напряжения. Правда, попытка побега случилась только однажды. На этом случае построен один из моих армейских рассказов — «Выстрел». Там моему герою пришлось застрелить беглеца. В жизни все обошлось без стрельбы и тем более смерти. Мой конвойный, узбек, легкий на ногу, догнал этого дурня и сбил с ног ударом приклада.

Через какое-то время я попросил Ширалиева освободить меня от столь экзотической должности. Что он, спасибо ему, и сделал.

Постепенно я привык к новому положению и вошел во вкус начальствования. Этому способствовало одно важное обстоятельство.

Сентябрь 1956 года. «Здравствуйте, дорогие мои. Прежде всего торжественно клянусь больше не выкидывать таких фортелей. *(Речь, безусловно, идет о большом перерыве между моими письмами.—Я.* Г.) Это, действительно, свинство. Но занят я крепко. Эти дни нас слегка переформировали. Теперь из моих прежних солдат осталось всего шесть человек. Из 34. Но люди значительно лучше прежних. Салажата 55-го года призыва. Мы их сразу же крепко взяли в руки, и дело идет неплохо. Гораздо меньше нервов и крику тратится. Мой взводный скоро увольняется в запас, повидимому, придется принимать взвод—это и лучше и хуже».

Удивительное дело — младший сержант со свежими лычками спокойно пишет о том, что ему «придется принимать взвод». И дело не только в этой иерархической несуразице — она определялась обстоятельствами, — а в том, как изменился автор письма по сравнению с автором писем

из Ванинского порта. Другое самоощущение.

Держу в руках список нового состава своего взвода. Интересно, что я думал, когда решил сохранить его и увез в Ленинград? Какой инстинкт сработал, когда я сохранил письмо Юры Рыбина и этот список? Догадывался ли, что когда-нибудь они могут пригодиться? Не знаю. Но список воспроизведу.

Это не просто перечень фамилий. На мой взгляд — говорящий текст: «Миронюк. Магдыч. Голышев. Сидоров. Олифриненко. Горкунов. Мисюра. Никитин. Буянтуев. Нестеров. Еремеев. Замогильный. Якубенков. Шульга. Стаников. Бутин. Дроговяз. Полуэктов. Сухов. Салдаков. Хилханов. Сорокун. Филатов. Кузьменко. Руткевич. Гуменной. Ларионов. Сальников. Тюлькин. Доращук. Тищенко. Шишмарев. Петухов. Голыгин».

Два последних почему-то дописаны карандашом.

Некоторых помню. Зрительно помню.

Петухов — невысокий, но массивный, с большим лицом, — чемпион роты по чему-то вроде вольной борьбы. Это было популярное занятие. Вообще мы изобретали самые неожиданные физические упражнения. Например, поднимали зубами гири. Было в роте две гири — пудовая и двухпудовая. Брался чистый носовой платок, завязывался на ручке гири так, чтобы узел был сверху. Человек становился над гирей, широко расставив ноги и упершись руками в колени, нагибался, брался зубами за этот узелок и распрямлялся. Ну, разумеется, кто мог распрямиться. Были силачи, поднимавшие таким образом двухпудовую гирю. Мой предел был — пудовая. И как только зубы выдерживали…

Да, список…

Как видим, в основном Украина. Причем — Западная. Буянтуев и Хилханов — буряты.

С этим составом взвода особых сложностей не было, однако эксцессы случались.

Героем одного, и весьма неприятного, был Сорокун. Большой рыхлый парень с детским лицом, очень ленивый и простодушно хитрый. То, что называлось — сачок. Была в нем и некоторая наглость. Однажды перед вечерней поверкой, когда взвод вышел из палаток, чтобы строиться на передней линейке, он чем-то раздражил Чигвинцева, который Сорокуна вообще не любил. Было за что. Я стоял довольно далеко и диалога их не слышал. Очевидно, комвзвода сделал Сорокуну замечание, а тот своим ответом вывел Чигвинцева из себя. И он ткнул Сорокуна кулаком в

грудь, именно ткнул. У Чигвинцева, очень сильного, были тяжелые крупные кисти рук и соответствующие кулаки. Коли бы он Сорокуна ударил, вряд ли тот устоял бы на ногах. Но отреагировал этот обычно флегматичный парень совершенно неожиданно. Дорожка передней линейки была обрамлена косо поставленными кирпичами, Сорокун схватил кирпич и замахнулся на комвзвода… Я уже шел к ним и в этот момент оказался рядом. И понял: если Сорокун ударит Чигвинцева, то, во-первых, он может Мишу серьезно изуродовать, а во-вторых, загремит в лучшем случае на зону, а в худшем — в дисбат, где сержанты припомнят ему покушение на командира. И дело его будет плохо.

Я встал между ними лицом, естественно, к Сорокуну и, помня сцену усмирения Ширалиевым «алзамайского мятежа», стал тихо и внятно говорить ему, что его ждет, если он не бросит кирпич. Сорокун еще немного постоял с занесенным кирпичом, потом швырнул его, заплакал и ушел за палатки. Взвод построился, провели поверку, и все — отбой.

Чигвинцева я уговорил не развивать эту историю. Он и не сопротивлялся. Поднимать руку на солдата было тогда не принято.

Помню, как воришка Тришин, укравший у меня книгу Яна на 77-м разъезде, лодырь и наглец, — куда противнее Сорокуна, — пожаловался Мурзинцеву, что командир взвода Луцкий и сержанты его избили. Я уж не помню, спрашивал ли я Стася. Но вполне допускаю, что он съездил Тришину по физиономии в ответ на какую-нибудь выходку. А Мурзинцев изумленно меня спросил: «Как ты думаешь, неужели Станислав мог его ударить? Никогда не поверю!» Я сказал, что это полное вранье и Луцкий руку на солдата, даже такого, как Тришин, не поднимет. Тут характерна уверенность замполита, что уважающему себя командиру в голову не придет бить солдата.

И когда теперь мы узнаем, что офицеры иногда забивают солдат до смерти или доводят до самоубийства, я вспоминаю нашего гвардии майора, войну прошедшего, и его растерянность. Не очень понимаю, правда, как это сочеталось с тем, что его друг, гвардии майор Ширалиев, мог себе нечто подобное позволить. Но сугубо по делу и «без нанесения вреда здоровью».

А теперь обратимся к главному сюжету этого полугодия — строительству семи километров бетонной дороги, ради чего нас и перебросили на станцию Белая.

Чтобы не перекрыть доступ транспорта к аэродрому,

бетонку стали строить не поверх грунтовой дороги, что было удобней всего, а рядом, параллельно, по ходу дела вырубая березы.

Когда я называл точные расстояния от станции до расположения полка и от него же до аэродрома, то ориентировался на эти семь километров, поскольку бетонка проходила мимо нашего лагеря.

Семь километров — невелико расстояние, но особость ситуации заключалась в том, что строили мы эту дорогу фактически голыми руками, из техники у нас были только самосвалы полкового автобата. На станции стояли бетономешалки, и оттуда самосвалы привозили теплый бетон к месту работ.

Использовалась простая, а потому надежная технология. Сперва делали деревянную опалубку — большую клетку во всю ширину дороги, затем опалубка заполнялась бетоном. Тогда в действие вступали мы, вооруженные совковыми лопатами и тут же изготовленными трамбовками. На весь полк было несколько вибраторов, и роль их была невелика.

Разравнивать лопатой бетон — занятие трудоемкое. Среди нас было немало очень сильных ребят. Помню одного парня, который по объему мускулатуры мог бы составить конкуренцию Шварценеггеру. Он и ему подобные работали лопатами в одиночку, но те, кто такими статями не обладал, вполне успешно приспосабливались. Делалось это так — к черенку лопаты у самого штыка привязывалась крепкая веревка, один человек держал черенок, другой — конец веревки, и они делали синхронное усилие. Бетон застывал быстро, и останавливаться не приходилось. Следом за разбрасывателями бетона шли трамбовщики. Трамбовки изготавливались просто — от толстого бревна отпиливался чурбак на метр с лишним, поперек торца прибивался кусок жерди в качестве ручки — и трамбовка готова. Работать ею было нелегко, но зато вся наша «техника» не знала поломок и не требовала электропитания — в отличие от вибраторов. Наши вибраторы существенно отличались от современных, которые погружаются в бетон и уплотняют его воздействием колебаний. Те, прежние, состояли из штанги с закрепленной на конце площадкой.

Вибраторы были электромеханические, то есть их надо было подключать к источнику электричества. Поэтому к месту работ—как в алзамайской тайге — трактор подтаскивал походную электростанцию и передвигал ее по мере надобности. А от нее шли кабели к вибраторам. Все это

было хлопотно, и предпочтение отдавалось нашим ручным трамбовкам.

Куда девалась опалубка, не помню. То ли ее каким-то образом извлекали и заполняли щели, то ли — что вероятнее — она оставалась вмурованной в бетон. Убейте — не помню.

Лето было жаркое. Над бетоном стояло облако испарений. Дышать в нем было трудно. Работали мы, естественно, без гимнастерок. Единственная отрада — здорово загорели.

Но бетонной пыли наглотались вдоволь, и вечерами приходилось отдирать от сапог налипший и закаменевший бетон.

В сентябре семь километров бетонной дороги были готовы. Хорошая получилась дорога, небось до сих пор действует. Мой личный вклад в нашу обороноспособность…

То же сентябрьское письмо: «Живу сравнительно неплохо. Работа моя заключается в том, чтобы во взводе был порядок и дисциплина. Пару часов в день выкраиваю для чтения (это в последнее время). Взял в поселке в библиотеке „Месс Менд" (*Доллар Дж. «Месс-Менд, или Янки в Петрограде».* — Я. Г.) — очень занятная штука. Она вышла сейчас отдельным изданием. Взял сборник Гейне. Он не нуждается в моих похвалах; но поэт он великолепный, я читал его и с удовлетворением отмечал, что мнение мое почти всегда совпадает с мнением Брандеса. <…> Что касается моего здоровья—любой ломовой скакун позавидует <…> Жду книг, от учебников немножко воздержимся, не из-за лени. Кто знает, что дальше будет. Здесь я пробуду числа до 20-го этого месяца».

Бетонку мы построили. Жить в палатках становилось все труднее. Ясно было, что полк должны куда-то перебрасывать. Куда? В родные казармы на 77-й разъезд? Снова в монгольские бураны? А что там делать?

Последнее письмо.

26.IX.1956. «Здравствуйте, дорогие.

Простите за длительное молчание, но мои командирские дела отнимают ужасно много времени. Ну, это ненадолго, такая занятость. Мы сдаем объекты (Бетонку и офицерские домики — Я. Г.), материалы. Скоро уедем отсюда. Куда — точно не известно. Слышал, что на север по Лене, в городок Осетрово, где-то в Якутии, что ли. Там заживем спокойнее. Да и новые места интересно посмотреть. Я на Лене еще не был. На Ангару насмотрелся вдоволь. 23-го выслал бандеролью „Жиль Блаза". Дело в том, что преподобный майор, которому я его привез, уехал в отпуск, так как ухитрился заболеть, и вернулся только 21-го

числа. Я очень здоров. Аппетит — хоть отбавляй. Я получаю теперь не 40, как раньше, а 100 руб. Из этого следует: во-первых, то, что не следует присылать мне больше денег, во-вторых, я это время усиленно подкармливаюсь. Здесь в магазине, возле нашего объекта, каждый день продается что-нибудь белое. А однажды я даже арбуз купил. Вот такая райская жизнь пошла.

Как вы, товарищи? Давно от вас ничего нет. Не ждите моих писем, пишите почем зря. Привет всем, всем, всем,

Целую, Яша.

Перевод получил. Спасибо большое».

Особого комментария тут не требуется. Не могу только вспомнить, какому из моих гвардии майоров понадобился плутовской роман Лесажа. Я, стало быть, привез книгу, когда был в отпуске, с тем чтобы вернуть в родительскую библиотеку.

Объект возле магазина, о котором идет речь, — очевидно, офицерские домики, к строительству которых мы вернулись, закончив бетонную дорогу от станции к аэродрому. Ситуация, конечно, абсурдная. Как только мы построили в монгольской степи здоровенный городок на 2000 человек со всей инфраструктурой, так нас немедленно перебросили в алзамайскую тайгу. Теперь нам явно предстояла передислокация, поскольку провести сибирскую зиму в палатках было нереально. Зачем мы строили этот офицерский поселок, которым нашим офицерам не суждено было воспользоваться? Плановое хозяйство…

Все, однако, сложилось по-иному.

Не помню точной даты, но, скорее всего, в начале октября, когда всем уже надоела неопределенность, я спросил Ширалиева, что же нас ждет. Эту сцену я хорошо запомнил. Он как-то тяжело помолчал и сказал: «Нас расформировывают».

Это была неожиданность.

Через некоторое время все более или менее прояснилось. Полк действительно расформировывали. Рядовой состав, отслуживший два года, демобилизовывали. Сержантов и старшин, не выслуживших три года, отправляли дослуживать в другие части. Офицеры, соответственно, тоже получали назначения. Кроме тех, кого отправляли в запас — по желанию или в приказном порядке.

Таким образом, мои лычки добавляли мне год службы. Я, однако же, не воспринял это как трагедию. Я понимал, что такого психологического комфорта, как в в/ч 11225, не будет. Но за сбывшуюся честолюбивую мечту приходилось платить.

В начале двадцатых чисел октября Ширалиев вызвал меня. Я не ручаюсь за слова, но смысл нашего разговора я забыть не мог. И читатель поймет почему.

Ширалиев сказал приблизительно следующее: «Есть два варианта. Я получил назначение. Если хочешь, поехали со мной. Я беру несколько человек. Быстро получишь старшину, и будем служить. Через год, если захочешь, останешься на сверхсрочную, а нет, так демобилизуешься. Другой вариант. Я могу оформить на тебя документы как на рядового. И поедешь домой первым эшелоном. Решай. Завтра ответишь».

Повезло мне с командирами.

Не могу сказать, что я всю ночь не спал. Со сном у меня все было в порядке, и не скажу, что решать было легко. Я пожалел, что не спросил у майора, куда он назначен. Если бы это были какие-нибудь экзотические места, хотя бы Крайний Север, и какая-нибудь серьезная строевая часть, я бы сильно колебался.

Конечно, соблазнительно было попробовать себя в роли ротного старшины. Я вспомнил нашего старшину в в/ч 01106. Очень значительная фигура. Он жил в каптерке, вставал одновременно с ротой, но шел умываться с полотенцем на шее, когда мы уже строились для выхода на физзарядку. Иногда он сам водил роту в кино или в клуб. Иногда выходил во время занятий физо и показывал безукоризненно выполненную «склепку»... Жил своей автономной жизнью и был почти что запанибрата с командиром роты...

Но с другой стороны — а книги? а музыка? а Эрмитаж, в котором я проводил часы, будучи с восьмого класса читателем эрмитажной библиотеки? Если служить дальше — не отобьет ли эта жизнь вкус к той, столь ценной и естественной для меня? А «наполеоновские планы» касательно исторических романов?

Утром я сказал гвардии майору, что выбрал второй вариант. Он кивнул. Лычки я спорол только перед самой отправкой, чтобы не отвечать на вопросы своих подчиненных. Каким образом Ширалиев вернул меня в прежнее состояние, я не спрашивал. Очевидно, в той суете и неразберихе, которая началась после приказа о расформировании, никого такие мелочи не интересовали. А вся документация была в руках начштаба. Ситуацию упрощало то, что за три месяца сержантства я не удосужился отнести в штаб свою солдатскую книжку, чтобы записать новое звание. Как бы вышел из положения начштаба, если бы запись была сделана? Оформил новую книжку? Возможно. Он

был опытный штабист.

Любопытно, что это саморазжалование нисколько меня не огорчило. Лычки я выслужил, и этого было достаточно. Стало быть, не в лычках дело…

Грустно было прощаться с друзьями.

Был у меня во взводе чрезвычайно нелепый парень Боря Миронюк из Западной Украины. Косоглазый, неуклюжий. Вот передо мной его изображение — он даже пилотку толком носить не научился. Над ним посмеивались, хотя и не обижали. Такого не было в заводе. Но я ему, условно говоря, покровительствовал. Он робко попросил разрешения подарить свою фотографию. И написал на обороте малограмотным почерком: «На долгую (Пропустил слово «память».—*Я. Г.)* и незабываемому своему ком. од. (т.е. командиру отделения.—*Я. Г.)* от Миронюка Бориса. 24/X 54 р. (т.е. року. — *Я. Г.)*».

Я и тогда был тронут, да и теперь приятно.

Старшина Калмыков тоже подарил фотографию с философской надписью: «На долгую и добрую память Гордину Яше от Владимира Калмыкова.

Вспомнишь — спасибо,
Забудешь — не диво.
В жизни случается все».

Лева Сизов написал на обороте фотографии: «На память другу по совместной службе Яше от Левы Сизова.

24.10.56 г.

Ст. Белая.

Вспомни, Яша, Дацан, 77 разъезд, Алзамай, Белую, как мы жили не тужили, мерзли и мечтали о лучших в нашей жизни днях».

Стась Луцкий подарил фотографию, где он еще младший сержант, но зато в офицерской фуражке. Очевидно, фотографии со старшинскими погонами не было под рукой, а может быть, Стась больше себе нравился в фуражке.

На обороте: «На память с неизменной признательностью Гордину Якову.

Всевышней волею пророка
Вы едете в свой Ленинград.

Примите солдатские строки,
Храните как дружбу солдат.
24/X.1956 г. Ст. Белая».

Мы с ним, как я писал, были на «вы». Но Стась, натура романтическая, расчувствовался и к фотографии приложил на тетрадном листке стихи, с другим обращением.

На память
(Прощальная Ода, бездарная,
но от всего сердца, Гордину Якову.)

Иногда мы грустно жили,
Друг мой милый, дорогой.
Радость бедную делили
Мы с тобой не раз порой.

Было все — мороз, бураны,
Лес, дорога и дома.
То подъемы слишком рано,
То с отбоем кутерьма.

И палатка подвергалась
Нападенью всех ветров,
Наша юность закалялась
Силой, мужеством трудов,

Романтизмы все забылись,
И, до боли зубы сжав,
Мы вперед всегда стремились,
Долг Отчизне свой отдав.

Иногда мы грустно жили,
Друг мой милый, дорогой.
Навсегда мы сохранили
Память дружбы боевой.

23/X.1956 г. Ст. Белая».

Сережа Мороз, командир 3-го взвода, подарил фотографию маленькую, но зато — в отличие от Стася — в

старшинских погонах. Стихов он не писал, но приложил листок с адресом и наставлением: «Писать раз у месяц». Адрес — Винницкая обл. Брауловский р-н, с. Марьяновка, Мороз Сергею Аникиевичу.

А вот фотография моего взводного, Миши Чигвинцева — крепкое скуластое напряженное лицо. Он здесь разжалованный.

Судя по моему военному билету, приказ по полку о демобилизации появился 24 октября 1956 года. А в конце месяца я сел в поезд, идущий на запад, домой.

По известному выражению, я возвращался в другую страну. Ни о XX съезде, ни о речи Хрущева — февраль 1956 года — мы в алзамайской тайге не слыхали. И венгерские события, совпавшие с расформированием нашего полка, нас не задели.

Настроение было прекрасное, и я не предполагал, что через некоторое время пожалею о своем решении.

«Военно-полевая» рефлексия началась на втором курсе университета. Я затосковал. Исторические романы как-то не шли. Стихи и выступления, новые друзья — этого оказалось недостаточно. Несколько месяцев на целине летом-осенью 1958 года притушили мое беспокойство, но в пятьдесят девятом я уже был уверен, что жизнь надо снова менять — как в 1954-м. У меня были самые фантастические планы, например, окончить курсы шоферов и поехать в Сибирь работать на лесовозе — алзамайские реминисценции. Как ни нелепо это сейчас звучит, мне очень хотелось повоевать, у меня были, очевидно в пятьдесят девятом, стихи, которые начинались так:

Я пойду волонтером на Кубу.
Я опять получу карабин.
Будут в солнечной слякоти губы.
А потом они будут в крови.

В этом не было никакого революционного романтизма, присущего тогда многим. Вспомним восторженные стихи Евтушенко. Я уже этого был начисто лишен. Как и иллюзий относительно советской власти. Просто Куба была в это время местом, где воевали.

Я писал стихи, посвященные капитану Конг Ле, командиру батальона парашютистов, совершившему военный

переворот в Лаосе.

Гаснут трассы меж звездами чистыми
Над тропиками, во мгле.
Я родился парашютистом
Капитана Конг Ле.

И менять назначение поздно.
Передумать — значит солгать.
Мне писать запрещают прозу
Автоматы его солдат.

И так далее... Нда-а... Это, между прочим, стихи уже шестидесятого года. После армии прошло больше трех лет. Но она прочно во мне сидела.

Я имел неосторожность включить этот манифест в свой первый сборник, вышедший в 1972 году. И меня справедливо обругал за них Вениамин Александрович Каверин, вообще-то хорошо ко мне относившийся.

Я стал горько сожалеть, что растерял связь со своими армейскими друзьями. Когда мы прощались, Леня Турчин сказал: «Ты пиши. (Он имел в виду письма.—*Я. Г.).* Интересно, что из тебя получится». Вскоре он прислал мне письмо из своей новой части. Я не сразу собрался ответить, уехал в Вильнюс — повидаться с родственниками, а письмо Ленино тем временем затерялось. Видит Бог, как мне теперь стыдно. Что ребята могли подумать?

Несколько лет назад меня отыскал Лева Сизов. Увидел по телевизору и попросил свою племянницу, живущую в Петербурге, найти мой телефон. Я звал его приехать — он жил под Ригой. Он отказывался. У него уже была операция на сердце. И вот уже дважды он не поздравил меня с Новым годом...

Не знаю, чем бы кончился тогда этот кризис, если бы мой школьный приятель Боря Генин, геофизик, работавший в НИИ геологии Арктики, не предложил мне поехать в экспедицию на Крайний Север. Я был на втором курсе. Мне удалось перенести экзамены на осень, а по возвращении я понял окончательно, что университетская жизнь не для меня.

Я перевелся на заочное отделение, и началась другая жизнь — НИИ геологии Арктики, пять замечательных экспедиционных лет в качестве техника-геофизика.

Соответствующие курсы я кончил при своем НИИ.

Это было еще одно принципиальное решение. Но уже не эксперимент.

После армии я был готов ко всему.

Но я ли это был?

В сентябре 1988 года Бродский, вспоминая ленинградскую юность и, в частности, литобъединение при газете «Смена», сказал в интервью: «Там же я познакомился с двумя-тремя людьми, один из них — это Яша Гордин. <…> С Яковом мы подружились. В нем была, как я теперь понимаю, посттихоновская брутальность»{8}. Это была осень 1957 года. То есть через год после моего возвращения из армии.

Собственно, ради его последних слов я и привожу этот текст. «Брутальность»… Если через тридцать один год после нашего знакомства Иосиф вспомнил эту черту как определяющую, стало быть, она бросалась в глаза.

Недаром уже в середине шестидесятых моя молодая жена в минуты неудовольствия называла меня фельдфебелем.

Одно время Иосиф увлекался хиромантией. Изучив мою ладонь, он убежденно сказал: «Ну, Яков, в любви ты солдат!» Уж не знаю, что он имел в виду, но слово было сказано.

Постепенно эта особенность личности, которую породило упорное и принципиальное психологическое вживание в армейский быт, смягчилась под влиянием моих старших друзей, интеллигентов, исповедовавших совершенно иную жизненную философию.

И тем не менее в дальнейшем все, что происходило со мной, в значительной степени определялось армейскими годами.

P.S. Перечитав свой мемуар, я задал себе вопрос: то, что рассказано здесь, — это единственно возможное воспроизведение реальности или один из вариантов? И не нашел категорического ответа.

Яков Аркадьевич Гордин МОЯ АРМИЯ

В поисках утраченной судьбы

Дизайнер обложки С. Тихонов Редактор Н. Сайкина Корректор Е. Полукеева Верстка Д. Макаровский

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции 0К-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры 000 РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства: 123104, Москва, Тверской бульвар, 13, стр. 1 тел./факс: (495) 229-91-03 e-mail: real@nlo.magazine.ru Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат 60x90 $^{1}/_{16}$

Бумага офсетная № 1
Печ. л. 12. Тираж 1000. Заказ № К-8136.
Отпечатано в АО «ИПК ,Чувашия“»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

Семен Ласкин

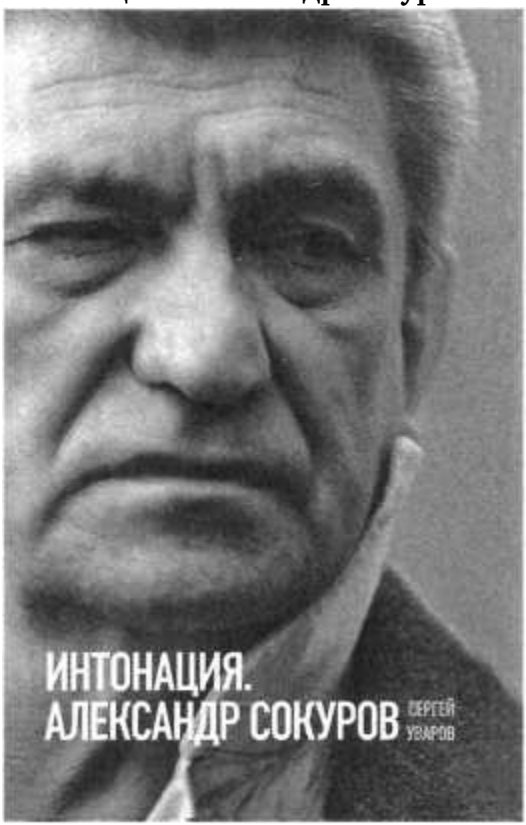
Одиночество контактного человека: Дневники 1953-1998 годов

Около пятидесяти лет петербургский прозаик, драматург и сценарист Семен Ласкин (1930-2005) вел дневник. Двадцать четыре тетради — своего рода хроника жизни советской творческой интеллигенции на протяжении нескольких культурных эпох — от Оттепели и до постсоветского времени. Повествование включило в себя множество лиц, событий, разговоров, запечатлевших дух времени, его главные надежды, страхи и разочарования. Сквозные герои дневника и постоянные собеседники Ласкина — ключевые фигуры послевоенной советской культуры: В. Аксенов, Г. Гор, И. Авербах, Д. Гранин и др. Некоторые встречи не имели продолжения, но остались запечатленными: с А. Ахматовой, И. Эренбургом, В. Кавериным. Еще одной важной частью дневника стали рассказы о дружбе с петербургскими художниками А. Самохваловым, П.

Кондратьевым, Р. Фрумаком, И. Зисманом. Книгу составил и пояснительные тексты к ней написал сын писателя, историк и прозаик Александр Ласкин.

Сергей Уваров

Интонация. Александр Сокуров



Основу книги составляют интервью с кинорежиссером Александром Сокуровым и его соратниками и друзьями — сценаристом Юрием Арабовым, художником Юрием Купером, актером Леонидом Мозговым, директором «Эрмитажа» Михаилом Пиотровским. В диалогах об искусстве, профессии и жизни создается многогранный и во многом неожиданный портрет Александра Сокурова, раскрываются неизвестные прежде грани его творчества и личности. Интервью чередуются с искусствоведческими эссе, раскрывающими различные аспекты киноязыка режиссера и предлагающими новый взгляд на ряд его проектов. Акцент в книге сделан на малоизвестных работах Александра Сокурова — ранних документальных фильмах, театральных постановках. Сергей Уваров (р. 1987) — культуролог, журналист. Кандидат искусствоведения. Член Союза композиторов РФ, член художественного совета Молодежного

отделения Союза композиторов РФ. Автор монографии «Музыкальный мир Александра Сокурова» (2011).

Михаил Гробман

Левиафан 2

Иерусалимский дневник 1971-1980

Михаил Яковлевич Гробман (1939, Москва) — поэт и художник, в 1960-е принадлежавший к кругу московских художников-нонконформистов, один из лидеров и идеологов Второго русского авангарда. В 1971 году переехал в Израиль, где сразу по прибытии записал в дневнике «У меня есть все нужное простому смертному: талант, семья, друзья, свобода, новая жизнь». Как и в России (дневники «Левиафан», НЛО, 2002), художник экспериментирует с разными художественными практиками, противопоставляя местному академическому истеблишменту поиски новых путей и различные неординарные проекты. В записях, составивших эту книгу (1971-1980 годы), подробнейшим образом запечатлена хроника жизни израильской богемы, литературная и бытовая повседневность. Впечатления от новых обстоятельств и знакомств, рассказы о выставках и музеях, литераторских посиделках, спорах и акциях перемежаются размышлениями о жизни и искусстве.

Книги и журналы «Нового литературного обозрения» можно

приобрести в интернет-магазине издательства www.nlobooks.ru и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

• «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, 8 495 781-19-00

• Галерея книги «Нина» — ул. Волхонка, д. 18/2 (здание Института русского языка им. В. В. Виноградова), 8 495 201-36-45

• «Гараж» — ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32 (Парк Горького, слева от центральной аллеи, магазин в Музее современной культуры «Гараж»), 8 495 645-05-20

• Государственная галерея на Солянке — ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2 (вход с ул. Забелина), 8 495 621-55-72

• Книжная лавка историка — ул. Б. Дмитровка, д. 15, 8 495 694-50-07

• Книжный киоск РОССПЭН—ул. Дмитрия Ульянова, д. 19, 8 499 126-94-18

• «Медленные книги» — http://www.berrounz.ru/, 8 499 258 45 03

• «Москва»—ул. Тверская, д. 8, стр. 1, 8 495 629-64-83, 8 495 797-87-17

• «Московский Дом книги» — ул. Новый Арбат, д. 8, 8 495 789-35-91

• «ММОМА ART BOOK SHOP» — ул. Петровка, д. 25 (в здании ММСИ), 8 916 979-54-64

• «ММОМА ART BOOK SHOP» — Берсеневская наб., д. 14, стр. 5А (Институт «Стрелка»)

• «Новое Искусство» — Петровский бул., д. 23, 8 495 625-44-85

• «Порядок слов в Электротеатре» — ул. Тверская, д. 23, фойе Электротеатра «Станиславский», 8 917 508-94-76

• «У Кентавра» — ул. Чаянова, д. 15 (магазин в РГГУ), 8 495 250-65-46

• «Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., д. 12/27, 8 495 749-57-21

• «Фаланстер» (на Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., д. 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), 8 495 926-30-42

• «Циолковский» — Пятницкий пер., д. 8, 8 495 951-19-02

• «Primus Versus» — Покровка, д. 27, стр. 1, 8 495-223-58-10

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

• На складе нашего издательства — Литовский просп., д. 27/7, 8 812 579-50-04, 8 952 278-70-54

• «Академкнига» — Литейный просп., д. 57, 8 812 273-13-98

• «Все свободны»—ул. Некрасова, 23, 8 911 977-40-47,

https://www.vse-svobodny.com/

• Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия В.О., д. 29, 8 812 323-50-90

• Киоск в Библиотеке Академии наук — В.О., Биржевая линия, д. 1, 8 950 025-64-66

• «Классное чтение» — 6-я линия В.О., д. 15, 8 812 328-62-13

• «Книжная лавка» — Университетская наб., д. 17 (в фойе Академии Художеств), 8 965 002-51-15

• «Университетский книжный салон» — Университетская наб., д. 11, 8 812 328-95-11

• Книжный магазин в Государственном Эрмитаже — Дворцовая пл., д. 2, Зимний дворец, галерея Растрелли

• Книжный магазин в Главном штабе Государственного Эрмитажа — Дворцовая пл., д. 6/8

• Книжный магазин Государственного Эрмитажа в Универмаге «Au Pont Rouge» — наб. реки Мойки, д. 28, 8 800 250-19-07

• Книжный магазин Музея «Эрарта» — 29-я линия В.О., д. 2, 8 812 324-08-09 (доб. 467)

• Магазин Музея Фаберже — наб. реки Фонтанки, д. 21, 8 812 333-26-55

• «Подписные издания» — Литейный просп., д. 57, 8 812 273-50-53

• «Порядок слов» — наб. реки Фонтанки, д. 15, 8 812 310-50-36

• «Порядок слов на Новой сцене Александринки» — наб. реки Фонтанки, д. 49А, эт. 3

• «Росфото» (книжный магазин при выставочном зале) — ул. Большая Морская, д. 35, 8 812 314-12-14

• «Санкт-Петербургский дом книги» (Дом Зингера) — Невский просп., д. 28, 8 812 448-23-57

• «Свои книги» — ул. Репина, д. 41, 8 812 966-16-91

• «Симпозиум»—ул. Достоевского, д. 19/21, лит. М (интеллектуальный кластер «Игры разума»), 8 812 670-25-00

• «Факел» — Литовский просп., д. 74 (Контейнерная улица), 8 911 700-61-31

• «Фаренгейт 451»—ул. Маяковского, д. 25, 8 911 136-05-66

• «Фотодепартамент» — ул. Восстания, д. 24, 8 901 301-79-94

• «Хувентуд» — Ковенский пер., д. 14, 8 929 116-24-54

ЯКОВ ГОРДИН

МОЯ АРМИЯ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ СУДЬБЫ

Новая книга известного писателя, историка, публициста Якова Гордина — это хроника двух экспериментов, с судьбой и памятью. В 1950-е годы интеллигентный юноша, начитавшийся «брутальной» литературы — Ф. Ницше, Д. Лондона, Г. д'Аннунцио и др., после школы добровольно идет служить, чтобы сменить книжный мир на мир реальный и предельно суровый. На побережье Охотского моря, в монгольских степях, в сибирской тайге рафинированная культура сталкивается с жестким армейским бытом, в который герою предстоит вжиться. Много лет спустя Я. Гордин перечитывает свои письма из армии — и обнаруживает, что помнит те годы и события совершенно иначе. Кто знает правду — сегодняшний автор или тогдашний юноша с «наполеоновскими планами»? В своих воспоминаниях Я. Гордин пытается ответить на этот и другие вопросы, связанные с исторической достоверностью и нашим отношением к прошлому.

ISBN 978-5-444-81180-1

comments

Комментарии

1

Пруст М. В сторону Свана. В поисках за утраченным временем. Пер. А. А. Франковского. Л., 1934. С. 50.

Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. 4. Л., 1981. С. 375.

3

Тынянов Ю. Как мы пишем / Как мы пишем. Л., 1930. С. 161.

Брандес Г. Людвиг Берне и Генрих Гейне. СПб., 1899.

5

Армейская поговорка, означающая постоянное хождение в караул. — *Прим. авт.*

6

Русская поэзия XX века. Антология русской лирики первой четверти XX века / И.С. Ежов, Е.И. Шамурин; ввод. ст. В. Полянского. М., 1925.

7

Имеется в виду общеармейский паек — в отличие от двойного или полуторного северного. — *Прим. авт.*

8

Рейн Е. Человек в пейзаже // Иосиф Бродский. Большая книга интервью / Сост. В. Полухина. Второе, испр. и доп. издание. М., 2000. С. 416.